

The background of the book cover is a sepia-toned historical photograph. It depicts a large, dense crowd of people, likely a public gathering or a military procession. In the lower-left foreground, a portion of a vintage open-top automobile is visible, showing its large spoked wheels and side structure. The overall scene is set outdoors with trees and a building visible in the background.

Живая история

А. А. Мордвинов

Из пережитого

Воспоминания
флигель-адъютанта
императора Николая II

ТОМ 2

Живая история (Кучково поле)

Анатолий Мордвинов

**Из пережитого. Воспоминания
флигель-адъютанта
императора Николая II. Том 2**

Издательство «Кучково поле»

2014

УДК 93
ББК 63.3(0)53

Мордвинов А. А.

Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора
Николая II. Том 2 / А. А. Мордвинов — Издательство «Кучково
поле», 2014 — (Живая история (Кучково поле))

ISBN 978-5-9950-0413-4

Впервые в полном объеме публикуются воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II А. А. Мордвинова. Во второй части («Отречение Государя. Жизнь в царской Ставке без царя») даны описания внутренних переживаний императора, его реакции на происходящее, а также личностные оценки автора Николаю II и его ближайшему окружению. В третьей части («Мои тюрьмы») представлен подробный рассказ о нескольких арестах автора, пребывании в тюрьмах и неудачной попытке покинуть Россию. Здесь же публикуются отдельные мемуары Мордвинова: «Мои встречи с девушкой, именующей себя спасенной великой княжной Анастасией Николаевной» и «Каким я знал моего государя и каким знали его другие». Издание расширяет и дополняет круг источников по истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.

УДК 93
ББК 63.3(0)53

ISBN 978-5-9950-0413-4

© Мордвинов А. А., 2014
© Издательство «Кучково поле», 2014

Содержание

Часть II	6
Предисловие	6
Дни перед революцией	8
Революционные дни в Ставке и отречение государя от престола	22
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Анатолий Александрович Мордвинов

Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы)

Издано при поддержке фонда «Связь Эпох»

Печатается по рукописям ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 513. Л. 1-463; Д. 514. Л. 1-136; Д. 515. Л. 1-130; Д. 516. Л. 1-69; Д. 517. Л. 1-117.

Часть II

Отречение государя. Жизнь в царской Ставке без царя

Предисловие

«3 марта 1917 года мы, лица ближайшей свиты государя императора Николая Александровича, находясь в императорском поезде, при возвращении Его Величества после отречения от престола из Пскова, постановили: во избежание неточностей и предвзятых рассказов в будущем записать сообща и немедленно, возможно полнее, еще по свежей памяти, все известные нам подробности этого ужасного для нашей Родины события, совершившегося накануне...»

В таких довольно нескладных выражениях начиналась общая запись наших тогдашних свидетельских показаний, обнимая время с вечера 26 февраля до пяти часов дня 3 марта 1917 года.

Дневник этот был записан в пути, между Псковом и Могилевом, карандашом, на многих листах бумаги, под нашу диктовку, начальником военно-походной Его Величества канцелярии генералом К. А. Нарышкиным, обещавшим дать каждому из нас с него копию.

Исполнить это, однако, в пути он не успел, а сам подлинник затем, в тогдашние, полные замешательства и забывчивости дни, затерялся бесследно.

Но содержание его, как и все тогдашние переживания, прочно сохранились в моей памяти и являются главным основанием этой, II части моих семейных записок.

Я их предназначал не для печати, а лишь для моих близких родных, и этим объясняется «ненужность», быть может, многих страниц.

Но и сейчас, когда меня так убедительно просят поделиться с другими – помяная даже имя «истории», – всем тем, чему мне пришлось быть свидетелем как в «затишье» перед бурей, так и в самой «буре революции», мне не хочется ни менять семейный характер моих воспоминаний, ни переделывать их в надлежащую книжную форму.

Несмотря на различие политических убеждений, мы все русские, ведь одна семья, тесно связанная со мною, родною русскою кровью.

Да и нет у меня для такого труда ни достаточного времени, ни необходимого опыта. Будущий историк меня за это, конечно, не похвалит, а близкий современник, быть может, поймет и простит.

Впрочем, слишком смело было бы с моей стороны – песчинки в вихре событий – предполагать о каком-либо внимании историка. Хотя история пишется людьми, для людей и о людях, ей всегда были безразличны оттенки красок тех картин, которые приходилось видеть невлиятельному современнику. Во многих случаях все же приходится об этом пожалеть, так как и сама история есть не что иное, как общее выражение даже не поступков и мыслей, а лишь настроений мелких человеческих единиц, властно руководящих и великими людьми, и великими событиями...

Смотрел ли я зорко и достаточно пытливо в те ужасные, полные злобы и растерянности дни? Не знаю – судить, конечно, не мне.

Говорят, что посторонним, издали, всегда виднее. Может быть.

Но это верно, пожалуй, лишь тогда, когда кругом все ясно, а даль прозрачна и чиста. В наджавшихся на мою Родину сумерках смуты я все же стоял ближе многих к центру тогдашних событий к семье моего государя, и мне казалось, что в тогдашнем, грязном густом тумане мне был намного яснее виден их настоящий нравственный облик, чем остальным.

Впрочем, не для современников тогдашних событий и были написаны в свое время эти записки. Мои современники ведь всегда «все лучше сами знали» и «все прекрасно видели своими собственными глазами». Мои свидетельства я посвящал поэтому не им, а в лице моей дочери тому молодому русскому поколению, что идет нам на смену.

Да не повторит оно хоть главных ошибок, совершенных нами на погибель Родины, и, следуя с крепкой верой вперед, пусть почаще оглядывается на наше не только великое, но и ужасное прошлое...

Harz

Декабрь 1921 г.

Дни перед революцией

Мучительные дни величайшего позора моей Родины нахлынули на меня в феврале 1917 года совершенно неожиданно. Они застали меня в звании флигель-адъютанта Его Величества, состоявшего в числе немногих в ближайшей личной свите государя императора и временно прикомандированных к военно-походной канцелярии.

Кроме К. А. Нарышкина, ее тогдашнего начальника, в состав военно-походной канцелярии входил еще его помощник флигель-адъютант Д. Ден, моряк, с которым я и чередовался в дежурстве как в Царском Селе, так и во время пребывания государя в Ставке, а также и при сопровождении Его Величества в путешествиях.

Остальная свита государя была весьма многочисленна и состояла из генерал-адъютантов свиты Его Величества генерал-майоров и флигель-адъютантов. Число этих последних было также очень значительно, так что счастье дежурить при Его Величестве – дежурили при государе обыкновенно лишь одни флигель-адъютанты – выпадало им весьма редко, не больше одного раза в месяц, а иногда и того реже. Во время войны большинство флигель-адъютантов находилось на фронте со своими частями, но когда государь имел пребывание в Ставке, они вызывались начиная с 1916 года поочередно по двое в Могилев для более продолжительных дежурств при Его Величестве, длившихся по две недели.

Я сказал, что позорные февральские дни нахлынули на меня совершенно неожиданно, Это, пожалуй, не совсем так. Смутные предчувствия надвигающегося чего-то мрачного, давящего, гнусного и предательского не переставали волновать меня уже с середины 1916 года. И не море грязи, сплетен, интриг и самых низких человеческих побуждений, которое в то время особенно бушевало, было тому причиной.

Три-четыре маленьких случая как-то особенно поразили меня, заставили больно сжаться сердце и запечатлелись в моей памяти почему-то до сих пор.

Один – встреча на Невском, весной 1916 года, одного моего бывшего товарища по Академии, генерала, бывшего командира одного из гвардейских Варшавских пехотных полков, фамилию которого я, к сожалению, к своему стыду, теперь совершенно забыл.

Сначала сердечные вопросы о том, как я поживаю, где теперь нахожусь, где служу, – и затем на мой ответ, что нахожусь в личной свите государя и в Ставке, вдруг вырвавшийся у него неожиданно для меня мучительный возглас: «Ужас! Ужас! Что будет?!...» Глаза его, обыкновенно владевшего собой человека, как мне показалось, наполнились слезами. Он отвернулся, затем быстро, особенно крепко, как бы прощаясь надолго, пожал мою руку и скрылся в толпе прохожих. Больше его я уже не встречал.

«Что с ним такое? – подумал я. – Он что-то знает, что-то хотел мне сказать, намекнуть и не смог». И впервые смутная догадка о возможности существования какого-то, вероятно, военного заговора против государя промелькнула в моих мыслях. Но я ее сейчас же прогнал, как чудовищную нелепость, в особенности во время войны.

Другой произошел осенью того же года.

Я только что узнал, что сын моего родственника, одинокого генерала З.¹ убит на войне. Я давно не был у старика, поехал к нему и нашел его в большом возбуждении. Ему уже сообщили о гибели сына, которого он горячо любил, но, к моему изумлению, вовсе не это его взволновало. Он только вскользь упомянул о своем милom, бедном сыне и сейчас же, перебивая меня и путаясь сам, торопливо начал выкрикивать:

– Что это такое! Какой позор! Распутин! Вот до чего дошли – мужик правит государством! Разве это можно терпеть! Стоит ли для этого умирать на войне? – и т. д., и т. д.

«Как, и ты? – изумленно, с горечью подумал я, – и ты, умудренный годами старик, убежденный монархист, заслуженный ученый генерал, начитанный человек, издатель в свое

время исторического журнала, привыкший всегда вдумчиво и критически относиться ко всяким явлениям политической жизни, – даже тебя, в часы твоего личного жестокого горя, охватила эта невероятная по бессмыслию сплетня, способная увлекать в другое время разве лишь сплетников отдаленного захолустья».

Мне стоило немалых трудов успокоить старика и разбить хоть отчасти своими доводами все те небылицы, о которых он успел наслышаться «со всех сторон».

Третий – насколько я помню, случился, кажется, в один из приездов государя из Ставки в Царское Село в самом конце января или начале февраля 1917 года, во время моего дежурства при Его Величестве².

Был уже вечер, около 7 часов. Дневной прием кончился, и я сидел в дежурной комнате Александровского дворца, когда мне доложили, что какой-то «проситель», только что прибывший издалека, кажется, из Саратовской или Воронежской губернии, настойчиво просит о приеме его государем, и притом немедленно, по весьма важному государственному делу.

Время было неурочное – обыкновенно просители принимались дежурным флигель-адъютантом около 2–3 часов дня, чтобы затем все их прошения могли бы быть вручены государю еще вечером того же дня.

Я вышел к просителю. Он оказался совсем древним стариком, лет 75, с добродушным, располагающим лицом и с живыми движениями. Судя по его одежде и говору, он принадлежал или к зажиточным крестьянам, или к мелким сельским торговцам. Церковные старосты деревенских церквей обыкновенно походили на него.

На мой вопрос, в чем заключается его просьба и что именно он хотел бы передать Его Величеству, старик мне сказал, что лично сам никакой просьбы не имеет, а хочет видеть «батюшку царя по весьма важному всей русской земле делу», а в чем это дело, он не имеет права никому говорить, «и тебе, батюшка, прости, не скажу, хоть ты и доверенный человек, и великим князьям и министрам не скажу, а скажу только одному Его царскому Величеству».

На мои доводы, что государь сейчас занят и что беспокоить его теперь нельзя, старик продолжал волноваться и настаивать, чтоб его допустили к государю возможно скорее, «а то, может, будет поздно, и большая беда случится, много народу понапрасну погибнет».

Старик производил всем своим внешним и внутренним существом очень хорошее впечатление и отнюдь не принадлежал к довольно распространенному типу назойливых или ненормальных просителей и изобретателей, обыкновенно знающих какую-то великую тайну и добивавшихся поведать ее лишь непосредственно одному государю императору.

Время тогда было уже очень смутное, злобное; некоторые исторические примеры из далекого прошлого мелькнули в моей памяти; я подумал и доложил Его Величеству о настойчивом посетителе.

– Вот какой упорный, – с добродушной улыбкой ответил государь. – Но все же сейчас говорить с ним не могу, вы видите, – и указал на целую гору бумаг на письменном столе, – все срочные; может быть, потом... Впрочем, попытайтесь еще раз узнать от него, в чем именно дело: скажите ему, что я лично вам это поручил, а потом передадите мне его просьбу за нашим обедом.

Я вернулся к старику, передал ему слова государя и уверил его, что все то, что он мне скажет, будет сегодня же, через час, доложено Его Величеству, и никто, кроме меня и государя, не будет об этом знать.

Если же он мне все-таки не доверяет, то пусть напишет, в чем дело, и я запечатанный при нем пакет вручу непосредственно Его Величеству.

Старик долго колебался, пытливо смотрел на меня и вдруг как-то таинственно наклонился к моему уху и, хотя мы были совершенно одни в комнате, волнуясь, отрывисто зашептал:

– Задумали злое дело... хотят погубить батюшку царя, а царицу и деток спрятать в монастырь. Сговаривались давно, а только решено это начать теперь... Самое позднее через три

недели начнется. Схватят сначала царя и посадят в тюрьму, и вас всех, кто около царя, и главное начальство также посадят по тюрьмам. Только пусть батюшка царь не беспокоится... Мы его выручим, нас много.

На все мои вопросы: «Кто это задумал? Кто его послал? Как и когда он узнал об этом? Где начнется?» старик таинственно и неопределенно повторял мне свое: «они задумали», «наши послали», «не сомневайся, верно говорю, не позже как через три недели начнется».

– По всей России они ездят и к нам приезжали сговариваться, говорили – пора начинать. Как наши узнали, так сейчас меня и послали, поезжай скорей, дойди до самого царя и скажи про злое дело. Только никому другому не говори. Я как в чем был, сел на машину, так без всего и поехал. Только три дня ехал, торопился...

Ничего более определенного от старика я добиться не смог, спросил, где он остановился, сколько времени пробудет, записал его адрес и отпустил.

За обедом, к которому я был приглашен и за которым никого, кроме царской семьи, не было, я передал государю в общих чертах о поручении, возложенном на посланца.

Его Величество в этот вечер был еще более грустен и озабочен, чем обыкновенно в последнее время.

– Ах, опять о заговоре, – сказал государь, – я так и думал, что об этом будет речь; мне и раньше уже говорили. Добрые простые люди все беспокоятся. Я знаю, они любят меня и нашу матушку Россию и, конечно, не хотят никакого переворота. У них-то, уж наверное, более здравого смысла, чем у других.

Государь немного задумался, потом посмотрел на меня, грустно улыбнулся и... переменил разговор.

Четвертая встреча, оставшаяся мне также почему-то памятной из многочисленных других, произошла в Ставке, во время самого последнего приезда в Могилев председателя Думы Родзянко, которого я немного знал по дворянским выборам моей Новгородской губернии³.

Он только что кончил доклад у государя и спустился вниз, чтобы уезжать. Кое-кто из лиц свиты, живших внизу, у прихожей окружили его и стали расспрашивать о подробностях приема. Подошел и я.

Родзянко был очень доволен.

– Прием был высокомиловитый; мне все удалось высказать, все, что было на душе, – говорил он, – и все было выслушано милостиво со вниманием. Положение, конечно, ужасно, но его можно все же спасти назначением ответственного министерства, и мне, кажется, удалось убедить в этом государя.

От вас, господа свита, теперь зависит помочь нам и поддержать государя в мысли о его необходимости. Если назначения ответственного министерства не будет, то остается только одно: отпустить Керенского на улицу, – неожиданно заключил он. – Нам его тогда не удержать.

– А вы знаете, что из этого выйдет? – не удержался я.

– Знаю, – с полным убеждением и почти с отчаянием ответил Родзянко, – выйдет жакерия!⁴

– И все-таки выпустите?!.

В ответ последовал лишь неопределенный жест, желавший показать полное бессилие самого Родзянко бороться с таким настойчивым намерением.

Я не знаю, почему именно эти отрывочные и, в общем, даже не яркие случаи почти дословно сохранились у меня в памяти. Благодаря моему прежнему и тогдашнему служебному положению мне приходилось соприкасаться с громадным числом людей «всех званий и состояний», тогдашняя психология которых, казалось, должна была бы еще более сильными впечатлениями отразиться на мне.

Но море человеческих страстей, которое тогда особенно бушевало и которое так близко подступало уже к тому, кто для меня олицетворял собою мою Родину, все еще казалось не

грозным, а скорее обиденным, грязным житейским морем, хотя и вышедшим, как бывало не раз, из своих привычных берегов.

В мутных волнах его, поднятых, что бы там ни говорили, очень невысокими качествами человеческих побуждений, мне не чувствовалось тогда ни особенной силы, ни того «всеобщего священного гнева», как о том кричали на каждом шагу. Мне не верилось, чтобы сплетни, подогретые обычным обывательским любопытством, которым всегда окружалась интимная домашняя жизнь императорской семьи не только у нас, но и у других, за границей, даже в союзе с интригами, неудовлетворенным честолюбием и завистью смогли бы одолеть великую страну или создать что-либо «священное» и «всеобщее».

Я относился к ним с какой-то инстинктивной безглизостью и не переставал надеяться, что непонятное легкоеверие к разным небылицам, охватившее всех и вся, сменится наконец более трезвым, вдумчивым к ним отношением, что «толпа», «общественность» изменчивы, что за приливом всегда следует отлив, и море всеобщего негодования, вызванное притом искусственно, войдет в свои обычные границы житейских пересудов.

Я «верил», я «надеялся», «мне тогда казалось»...

Теперь, когда я думаю об этих далеких, уже в легком тумане, днях, я должен сказать точнее: мне, вероятно, тогда лишь хотелось верить, хотелось надеяться, хотелось, чтоб так казалось...

Ни твердой веры, ни крепкой надежды, конечно, не могло у меня в то время быть. Я знал и силу самогипноза толпы, как бы интеллигентна она ни была, знал и своеобразную, почти непреодолимую силу сплетни и клеветы, в особенности в нашем русском обществе, в целом его объеме.

Но я знал также и то, что все, что совершается в мире, все, что «делает» историю, не находится всецело во власти человечества, как бы самоуверенно оно об этом ни думало и как бы сильно ни опиралось на созданные его же собственными потугами «исторические законы» и исторические выводы.

Как теперь, так и тогда я был убежден, что имеется что-то высшее, причина причин, замыслы которой, хотя и направлены к общему благу, мы не в силах постичь и которая не только отводит народам узкие рамки для их деятельности, но и путает, чуть ли не всегда, их самые, казалось бы, простые и логические предположения даже для самого близкого будущего.

Если нации, народы в общем круговороте событий мне казались бессильными, ничтожными, то тем менее великими и способными что-либо изменить по своему усмотрению мне представлялись и политические партии, и, в особенности, их вожди.

В моих глазах они были все те же люди, хотя и венцы творения, но с присущими их природе ограниченными возможностями, игрушки в руках судьбы, случая, «калифы на час», зависевшие порою даже от ничтожного болезненного микроба, рассматривать который можно лишь в микроскоп, но который так случайно и властно имеет возможность вмешиваться через тех, кого настигает, и в политическую жизнь народов.

Я задавал себе тогда вопросы и, к несчастью, не перестаю их задавать и теперь, несмотря на всю их праздность; что было бы, например, сегодня с нами, если бы, как рассказывает историк, Наполеон, выезжая на сражение при пирамидах, не упал тогда так счастливо с лошади, испугавшейся выскочившего из-за кустов зайца, а разбил бы себе голову о лежавший рядом камень?

И мне было обидно сознавать, что вся политическая история XIX, начала XX и последующих веков могла бы зависеть от этого внезапного появления зайца, а в других случаях еще и от менее важных причин.

Но, вероятно, «история» не позволяет таким образом шутить с собою, – продолжал думать я, – и немедленно заполняет пустое пространство таким же точно вторым Наполеоном для выполнения ей одной известных задач, вернее, она охраняет свое избранное орудие от

всяких ненужных случайностей или, наоборот, окружает его необходимыми обстоятельствами, так как и сами случайности в руках Судьбы являются не менее послушным и предназначенным орудием.

«На войне повелевает Его Величество Случай», – говорили неоднократно вместе с Наполеоном все полководцы мира. Я думал, что и в истории человечества – этой непрестанной войне друг с другом – эта до сих пор загадочная вещь имеет не менее важное значение.

Такое довольно туманное, но давящее сознание «неизбежности» всего совершающегося вместе с чувством, что современному человечеству не под силу бороться с нею, сказалось и на моем совершенно равнодушном отношении к вопросу, до болезненности волновавшему тогда всех, к вопросу о том, «будет ли наконец назначено ответственное министерство, пользующееся всем доверием страны».

В этом видели «единственное спасение», «единственный выход из тупика».

В моих глазах ответственное министерство не было даже тою соломинкою, за которую так стремилась тогда ухватиться утопавшая в своих страстях и захлебывавшаяся от «справедливого негодования» часть русского общества.

Почему народ, олицетворенный механическим, а не качественным выборным большинством, а в массе всегда больше недалеких и поверхностных, продолжал думать я, почему он сумеет выбрать действительно лучших и необходимых людей и обуздать свои страсти настолько, чтобы продолжать оказывать своим избранникам не обычно минутное, а более долгие доверие.

И столь требуемая «ответственность» не заставит ли народного избранника заискивать перед избравшими, идти в шорах партии, а в противном случае не отбросит ли его, как неудобного, по примеру древности, лишь за то только, что «народу надоест его справедливость».

Да и что значат в данном случае, не в теории, а в действительности, с таким убеждением звучащие слова: «весь народ», «общее желание», «всеобщее доверие», «настоящие свободы», «каждый участвует в управлении государством»?!

Не остаются ли они всегда лишь словами и, как показывает трагический опыт человечества, не несут ли они, неизменно повторяясь, вместе с собою лишь море человеческой крови и лиших человеческих страданий.

А главное, где эти люди, даже действительно хорошие и способные, найдут и силу и возможность изменить по своему усмотрению, притом в данную минуту, именно то, что началом имеет тысячелетия существования земли и что связано не только с человеческими, хотя бы благородными стремлениями, но и с физическим миром нашей планеты?

Что они могут предотвратить? В каких границах сдержать? В какое желанное русло направить не поток, а бурливый океан человеческих не только духовных, но и физических взаимоотношений?

И мне вспоминались при этом заключительные слова немецкого историка в своей книге, вышедшей еще за три года до нашей Японской войны, разбиравшего чисто географический вопрос: «о влиянии вод Тихого океана на расселение рас» и с убеждением спрашивавшего: «Интересно знать, чем кончится предстоящая война России с Японией, так как неумолимо из моих выводов следует, что не драться они не могут?»

Русская общественность думала об этом иначе, чем беспристрастные историки; по ее мнению, войны можно было бы избежать, не будь этой авантюры с позорными концессиями Безобразова и К^о и т. д., и т. д.⁵

Значит, у истории, у науки все же есть возможность точных выводов, ухватился я с облегчением за этот вопрос, она, значит, дает указания, делает предостережения, оставляет людям свой опыт... И сейчас же себе отвечал: от истории в данных случаях не остается человечеству ровно ничего, никаких уроков, никаких сочувствующих предостережений; остается лишь один

кошмарный, но непререкаемый вывод: народы не хотят оглядываться назад; они не признают чужого опыта и, забывая даже недавний свой, горделиво смотрят вперед.

Они, мол, достаточно велики, достаточно особенны, слишком прониклись великими политическими идеями и хотят сами делать свою новую великую историю без посторонней указки.

«Самое лучшее, что мы получаем от истории, – сказал Гете, – это энтузиазм, ею возбуждаемый», но и энтузиазм бывает разных родов.

Слишком часто он бывает направлен на разрушение и на попрание человеческих прав.

Бедные народы, бедное человечество, продолжал безотрадно думать я, оно все силится строить великую собственную жизнь с этими ничтожными средствами «политики» и неизменно падает в пропасть, превращаясь если не в труп, то в надолго искалеченное существо.

Неужели и тебе, родная, милая Русь, несмотря на твои великие духовные особенности, суждено по примеру Китая, Персии и Турции погнаться за лживыми химерами Запада и хоть временно разделить с ними их печальную участь?

Нет, не может этого быть, не должно быть, спускался я невольно от своих «внутренних» тоскливых рассуждений на более мне близкую почву земных радужных надежд.

Русский народ в своей главной массе в минуту опасности если не разумом, то инстинктом поймет, что все эти «демократии», «республики», «парламенты», все эти «перевороты» для него негодные средства и, кроме великих потрясений, ему ничего не дадут.

За исключением немногих, он понимал ведь раньше, поймет и теперь, что республиканская или парламентарная форма правления дает лишь в известной степени свободу партий, а не общую свободу всем; что при этих формах правления одни дышат свободно, а другие непременно задавлены; что истинная свобода, если уж о ней говорить, может осуществляться только при самодержавной монархической форме правления, где монарх не ограничен ни палатами, ни партиями, где самодержец есть независимый представитель народной совести и является выразителем господства духа над материей.

В моих мыслях «народоправство» всегда являлось тем же самодержавием многих, но только самым худшим видом его и самой страшной тиранией из всех, перед которой принуждение одного человека, ответственного лишь перед своею совестью и Богом, является несказанным благодеянием.

«Да разве во внешних формах государственного устройства кроется ключ к человеческому счастью и к человеческому всеобщему преуспеваю, – продолжал думать я, – ведь только то вечное, что с такой убедительной простотой высказанное в Евангелии, указывает людям возможность быть счастливыми и удовлетворенными в их самом главном духовном самосознании».

Только одна любовь, заповеданная Богом, освещает людям путь к человеческому всеобщему счастью, а форма политического устройства лишь должна помогать развитию этой любви. В этом отношении я вместе с Влад. Соловьевым, мыслителем до пророчества, убежденно считал, что создание праведного христианского государства на земле, если о нем мечтать, «возможно лишь при существовании царя, помазанника Божия, царствующего Божией милостью и независимого от народного своеволия».

Почти 2000 лет существует кодекс высшей человеческой нравственности, записанный в Евангелии, и всякие попытки заменить его чем-либо другим, более новым и совершенным, ничего, кроме зла, страданий и разочарований людям не принесли и никогда не принесут.

Люди, «делающие русскую историю» и пекущиеся «не о себе, а о других малых сих», должны были бы, как никто, это знать, продумать и прочувствовать, а прочувствовав, рассказать и... оставить мир свободным от их непрошенных политических попечений.

«Усовершенствуйся сперва сам, – должна была бы им говорить их совесть, – а потом уже учи других и не строй своего выдуманного счастья, хотя бы в политике, на страданиях тебе подобных...»

«Должны бы! – с горечью возражал я самому себе. – Разве не показывает история, что такие простые евангельские истины всегда были непонятны влюбленным в себя политическим деятелям. Все значение, вложенное в слово «Любовь», они не понимали и раньше, не поймут и теперь, ни в далеком будущем».

«Свобода», «равенство» и «братство» – сколько бесплодных, а следовательно, и ничтожных слов раздается у них и сейчас вместо лишь этого одного властного, все вмещающего в себя великого слова.

Я презирал давно этот ходячий лицемерный политический призыв: сколько тюрем несла всегда с собой эта «свобода», сколько было растерзано братьев для торжества такого «братства» и «равенства» на земле.

Для меня «свобода» и «равенство» всегда были понятиями, исключаящими друг друга: я не мог бы чувствовать себя свободным, если бы меня принуждали быть равным тем, низшим, походить на кого я не только не хочу, но не могу быть похожим.

Никто, пожалуй, больше меня так не любит и не ценит свободу, но нашей европейской свободы я не хочу, от нее всегда пахнет кровью, и с нею всякий вмешивается в мои личные дела.

Мне непонятны и гадливы были поэтому все наши русские «высокоразвитые», «передовые», «гуманные» деятели, которые, не удовлетворяясь хорошим, мирным настоящим, льстиво призывали не рассуждающий «народ» к насильственному завоеванию еще лучшего будущего.

Нет, подальше от них, от этих сознательных и бессознательных подстрекателей убийц. Подальше от этих либералов с заманивающими словами народного блага на языке, а в конце концов, всегда с руками, запачканными в той же братской народной крови.

Подальше от их речей, воззваний, рассуждений, газет, от их «благородных» негодований и даже раскаяний – всегда поздних, но все же задолго ими предвиденных, а потому и не искренних.

Какое счастье сознавать, что высшая правда жизни не у них и не с ними!

Подальше от них и поближе – к кому? – не переставал я мучить себя и оглядывался вокруг. Конечно, к тем, кто осуществляет немного хоть на деле те запавшие мне в душу слова Книги Жизни, равно необходимые и для блага отдельного человека, и для всей страны:

«Отдайте кесарево Кесарю, а Божие Богу».

Это наставление людям в их отношениях к государству и монархической власти мне всегда казалось наиболее сильным и проникновенным.

Но в тогдашнем бурливом житейском море, окружавшем меня, было немало людей, отдававших хоть что-нибудь Богу, и почти никого, кто не отнимал бы чего-нибудь от царя.

Я чувствовал, что моей Родине необходимы не ответственные перед чем-то неответственным, расплывчатым министры, а ответственные перед своим законным царем подданные, и таких в Петрограде и в Москве почти не находил. Громадное большинство уже служило не царю и России, а так называемому общественному мнению, обычно предвзятому и падкому на всякие слухи.

Всплывшая, как всегда в таких случаях, неизвестно откуда муть жизни – сплетня – в те грязные месяцы уже доканчивала свое дело и была на верху влияния.

Ее встречали с открытыми объятиями не только лакейские прихожие, уездные гостиные, но и государственные деятели, сановники, придворные круги.

Она находила не менее радушный прием и во дворцах самых близких родственников царской семьи; с ней мирились рыцарские круги на фронте; и даже, к моему изумлению, от нее

брезгливо не отворачивались и вдумчивые люди, знавшие до того цену обывательской молвы и сторонившиеся ранее от всякой пошлости жизни.

Люди, всецело обязанные государю, знавшие довольно хорошо его нравственный облик, жившие порою под одной кровлей с ним, по непонятной психологии недостаточно сомневались в небылицах и тем невольно укрепляли веру в них и у остальных.

С разными подробностями и оттенками, соответственно душевному складу, положению и развитию сплетника, злостная клевета об «измене, свившей себе гнездо во дворце», о задуманном императрицей лишении власти государя в свою пользу, о Распутине, «овладевшем волей царской четы» и правящем «всецело» государством, о «темных силах», о «немецкой партии» и т. д., и т. д., подтвержденная в особенности деятелями Думы, проникала до низов армии, доходила и до глухих сел, где, надо сказать, все же встречала очень недоверчивый прием.

В деревне, правда, много говорили об измене, но только об «измене» генералов с немецкой фамилией. Эти толки были туда занесены солдатами с фронта и нашли самую причудливую форму.

Нельзя, конечно, было удивляться фантазии сплетников, она всегда и везде безгранична, но противна и жалка была та легкая отзывчивость, с которой эта фантазия тогда воспринималась.

Чувствовалось, что этому не только верили, но хотели, стремились верить и с радостным возбуждением встречали всякий новый рассказ, всякую новую сплетню и подробность из жизни царской семьи.

Казалось, если бы исчез тогда Распутин, вместе с ним исчезла бы для тогдашнего общества «наиболее заманчивая», волнующая сторона жизни, а разочарованные «верноподданные» немедленно создали бы нового героя и окружили бы его тем же усиленным вниманием и тем же любопытством.

Всякие доводы немногих лиц, близко знавших царскую семью, их доказательства в лживости клеветы неизменно встречали улыбку сожаления и убежденное снисходительное возражение: «Конечно, ваше положение обязывает вас так говорить, и мы вас понимаем, но ведь сами отлично знаете, что все это правда – смешно было бы не знать того, что знают все!»

Что можно было возражать на такие «простые» и ясные доводы?

В подтверждение этой «правды» распространялись фотографии Распутина с императрицей и великими князьями, ничего общего с царской семьей не имевшие, копии записочек Распутина, каждый раз с различными вариантами, передавались даже точные слова интимного разговора государя с Распутиным «с глазу на глаз», которого, если бы он и был, конечно, не мог никто слышать.

Но сомнений не было тогда ни у кого, потому что этих сомнений не хотели и их усиленно гнали прочь.

Все это было, положим, в порядке вещей, обычным явлением захолустья, в которое так охотно в те месяцы превратилось даже изысканное общество обеих столиц.

Как и при всех дворах мира, обычно было и стремление людей, так обливавшихся грязью царскую семью, всякими путями добиться к себе ее внимания, улыбки, расположения, возможности лишний раз представиться или напомнить о себе.

По непонятной для меня психологии к этому стремились тогда еще с большим рвением, чем раньше, и разочарование в случаях неуспеха сказывалось еще более резкой досадой, чем всегда.

Сколько таких людей мне приходилось видеть выходящими из кабинета государя с улыбкой удовлетворенного тщеславия после приема их человеком, о котором только что отзывались с недоуменным, искусственным сокрушением одни или со словами нарочно громко высказанного презрения другие.

Но я встречал и иных людей, которых искренно уважал, которым невольно сочувствовал и которых тем не менее все же сожалел. Сочувствовал, потому что видел их горячую, неподдельную любовь к Родине, их искреннее волнение обо всем совершившемся, их старание предотвратить опасность, грозившую нравственному облику царской семьи и вместе с этим и всей стране; сожалел, потому что чувствовал, что все старания их будут напрасны, так как началом их искренних переживаний была все та же клевета, та же сплетня, тот же вымысел. Люди мучились и волновались тем, чего не было в действительности: *Распутин не правил вместо царя государством, императрица не была «немкой», не была изменницей, не могла влиять тлетворно на управление, не вдохновляла какую-то «немецкую партию» и никакого переворота в свою пользу не замышляла* (здесь и далее курсивом выделено автором. – Ред.).

Эти люди, искренние и хорошие, хотели «спасти положение» и стремились уверить правителя, что вовсе не он, а «мужик» управляет страной; они думали, что смогут убедить любящего мужа, что его жена является злым гением страны, изменяет ему как супругу и как государю, а он не только знал, но и чувствовал, что ее сердце любит так же беспрдельно все русское, как и он сам, и не менее искренно, чем он, страдает от всех неурядиц.

Его хотели заставить уважать общественное мнение, сделать этому мнению уступку и забывали, что *тогдашнее* общественное мнение, так мелочно и грубо, а главное, так предвзято касавшееся его, он уважать, конечно, не мог.

Они были убеждены, что «он ничего не знает», и стремились «открыть слепцу глаза», а он все знал, все чувствовал, все понимал, так как все толки и до него доходили, и лишь брезгливо не хотел смотреть чужими глазами на свою собственную интимную жизнь, которую, конечно, лучше других и понимал, и ценил.

Человека упрекали в слабости и возмущались, когда он выказывал твердость, которую называли «преступным упрямством», лишь потому только, что она не соответствовала тогдашним опасным желаниям «всех».

Ему предъявляли требования от имени «всенародных» избранников, а он чувствовал и отчасти знал, что две трети его подданных об этих требованиях своих «представителей» не только мало знают, их не понимают, но и всякое уменьшение его власти будут считать преступлением по отношению к нему самому и народу.

Его, по его справедливым понятиям, ответственного лишь перед Богом и народной совестью, считали окруженным темными силами, и он, сначала с болью в душе, потом с невольным раздражением, ясно видел, что эти темные безответственные силы и влияния, наоборот, овладевали сознанием других.

Он хотел быть искренним и ненавидел с малолетства всякую распрю, шел с открытой душой на соприкосновение со своими оскорбителями, стараясь забыть все прежние поношения и нападки.

Еще недавно, при своем посещении Думы, он просил забыть все политические разногласия, соединиться в общих усилиях на благо Родины и продолжал видеть, что ничто, даже мелкое, не забывается и что общие усилия благодаря страстям все так же далеки от блага Родины и все по-прежнему ведут недостойными путями к ее разрушению⁶.

Он силился понять свою любимую и непонятную для многих страну, верил в ее особенный склад, в ее особенное призвание, гордился ею, оберегал ее достоинство и, стоя наверху, вдали от всяких дразг, думал, что именно ему, а не другим, виднее ее действительные потребности.

Но он также и чувствовал, что тогдашнее общество не только не понимало его, но и не хотело понять, не верило ему и не любило его...

Кто был и будет прав в этом роковом нравственном споре, вынесенном впоследствии на суд истории? – думал я. Человек ли, которому наперекор его желанию сам народ когда-то через его предков вручил свои судьбы, назвал его своею совестью и, инстинктивно сознавая свое

благо, начертал в своих законах решение подчиняться ему и впредь не только за страх, но и за совесть, или нынешние народные «представители», которые теперь думают иначе об этих «устарелых» и «вредных» словах прежней клятвы? И почему они думают об этом иначе?

Хотят ли они освободить себя от власти единоличного человека, сделавшейся слишком невыносимой, жестокой, грозной, несправедливой, и заменить ее более бессильной и менее, значит, способной властью многих, где они будут играть большую роль, или, наоборот, желают усилить эту власть, передав ее в руки другого человека, более проникнутого чувством властвования и желанием управлять?

Или, вернее всего, и теперь, как и раньше, вопрос идет вовсе не о личности монарха, а о том, чтобы отделаться навсегда от ненавистной лишь некоторым «умникам» формы правления?

Виноват ли действительно этот человек в том, что, как говорят, благодаря его безволию, неумению, неработоспособности страна перестала идти вперед к своему процветанию, что безвыходная нужда начинает уже стучать в дверь каждого, а человеческий физический и умственный труд встречает неодолимые препятствия при его управлении?

И мне вспоминалась при этом недавняя резолюция съезда пчеловодов, убежденно доказывавшая, что «правильное развитие пчеловодства невозможно без всеобщей, прямой, равной и тайной подачи голосов».

Я опять оглядывался кругом, останавливался мысленно на известных мне условиях тогдашней как городской, так и сельской жизни.

Несмотря на тягости небывалой войны, я видел, что жизнь в стране не замирала; что у нас и тогда было меньше острой нужды, чем в других странах, где единоличного правителя было.

Рабочие, купцы, фабриканты не могли жаловаться на отсутствие заработка. В деревне благодаря широкому пособию семьям запасных, скопилось порядочно денег, и жилось не хуже, а часто и сытнее, чем до войны.

Несмотря на недостаток рабочих рук, поля были все засеяны, неплохой, даже хороший урожай был вовремя собран и убран; ученым, писателям, художникам, мыслителям никто не препятствовал работать на пользу науки и человечества, а ученикам – учиться тому, к чему они чувствовали призвание. Не разрешалось только распространение – как и везде – идей и призывов, угрожавших мирному существованию государства. Бывали, правда, ошибки и недостаточная вдумчивость и мелочность правительственных цензоров. Но это были исключения, не затрагивавшие главного: человеческая, действительно благородная мысль не была загнана в подземелье, а слова величайшей христианской истины, почти единственно необходимые людям, могли свободно раздаваться с церковных амвонов и так же свободно распространяться среди всех людей.

Страна наглядно, даже при чрезвычайно тяжелых обстоятельствах военного времени, могла продолжать развиваться и не умалять уже достигнутого раньше величия.

Военное счастье, по всем данным, тоже должно было вскоре повернуться в нашу сторону. Вся необходимая подготовка к тому уже заканчивалась, а упорный враг, как чувствовалось, начинал уже изнемогать от своих внутренних затруднений. Наша армия как никогда была богата огромными техническими и материальными средствами.

Басня о намерении заключить отдельный позорный мир с германцами была к тому времени уже развенчана.

Еще звучали в ушах всех слова государя, с такой убедительной искренностью сказанные им войскам на фронте (в Замирье) при недавнем их посещении⁷.

Я эти слова не только читал напечатанными в газетах, но я лично их слышал, находясь в непосредственной близости от государя. Я видел взволнованное его лицо и сам был охвачен искренностью того чувства, которое заставляло государя произносить его полную убеждения речь.

Правитель страны, о достоинстве которого никто в те дни не думал, наглядно для всех оберегал нравственное величие своей Родины и сам с достоинством и с крепкой верой защищал ее имя от всех посягательств.

За что же его тогдашняя общественность так не любила? Так упорно отказывалась верить в искренность его слов, в благородство его стремлений и не шла навстречу его убедительным и бескорыстным призывам? – не переставал я задавать себе недоуменные вопросы.

Неужели только потому, что его не знают и благодаря его положению действительно не могут близко и хорошо знать?

Конечно, нет, не в этом одном кроется причина, – думал я.

Ведь 120 миллионов русских людей его лично не знают и тем не менее, несмотря на нападки интеллигенции и других 35 миллионов, не перестают окружать своего царя той наивной, любовной верой, которая невольно бросалась мне в глаза при моих частых поездках на фронт и в тылу, по разным глухим углам моей необъятной Родины.

Да и для «общественности», для «мозга страны» он не был прикрыт непреодолимой стеной. Он стоял слишком на виду у всех, со слишком многими ему приходилось соприкасаться. За его долгое правление не знать его хоть немного было нельзя, а отсутствие приемов, балов и т. д. не могло мешать этому. Его, вероятно, и знали, даже ближе и лучше, чем любого общественного деятеля или любого министра, сменявшихся тогда как в калейдоскопе?

Но если его немного действительно знали, то могли его хоть немного и понять, а поняв, если не полюбить, то оценить и в минуту нужды сплотиться вокруг него, как не раз сплывалась Русь вокруг своих государей, обладавших, как и всякий человек, своими недостатками.

Я перебирал в мыслях бесчисленные исторические примеры этого рода, останавливался на нравственных человеческих обликах наших прежних правителей и неизменно с полным беспристрастием считал императора Александра III и моего государя Николая Александровича самыми лучшими и наиболее нравственными из всех. Вокруг нашего русского из русских царя не только было должно, было можно легко и с порывом искреннего чувства объединиться, забыть всякие раздоры и хоть на время войны не начинать новых.

Да ведь и было время, и еще так недавно, когда вокруг него действительно и объединялись. Еще два года назад, при начале войны, даже после яростных нападков 1905 года, после «жестоких разочарований в даровании свобод» его восторженно встречали, перед ним становились даже на колени, к нему неслись благословения, его призывы воспринимались с патристическим воодушевлением.

Это было тогда. А теперь? Что изменилось?

Разве не остался он тем же прежним человеком, каким был и два года назад, с теми же качествами и теми же недостатками в глазах других, с теми же ставившимися ему в вину и тогда приходящими домашними обстоятельствами.

Тогда ничего не замечалось – теперь кто и какого вздора о нем не говорит!

Почему люди, зная давно, что и на солнце бывают пятна, только теперь вдруг вообразили, что из-за этого оно уже перестало греть и способствовать проявлению жизни.

Если он сам не изменился, то, значит, изменилась окружающая его среда. Я знал, что общественное мнение изменчиво, что истинные причины настроения толпы почти неуловимы, и все же силился найти объяснение психологии той части русских людей, которая тогда особенно негодовала.

Быть может, причиной являлось разочарование, усталость от затягивавшейся безмерно войны?

Конечно, все это было, но было лишь отчасти. Надежда на хороший конец войны не была еще потеряна, наоборот, она возрастала, да и моей Родине в течение многих веков не раз приходилось «запасаться терпением» от затяжных и неудачных войн и выходить победительницей при худших условиях, с еще большим разладом, чем теперь.

Непосредственные деятели войны, солдаты, этот сколок с нации, в общей массе еще не упали духом, и даже идущие им на поддержку запасные части, квартировавшие в волновавшемся Петрограде, относились к появлению государя восторженно и искренно отзывались на его призыв напрячь все силы до недалекого победного конца.

Прошло пять долгих лет, и до сих пор я вспоминаю с волнующим чувством этот последний высочайший смотр запасных гвардейских и армейских частей на Марсовом поле в Петрограде⁸.

До сих пор я слышу эти, никогда раньше с таким воодушевлением, с такою силою, с таким громом не раздававшиеся ответные клики и «ура» на приветствие государя.

Он ехал, как обыкновенно, медленно и спокойно по фронту, как всегда пытливо и с любовью всматривался в солдатские лица, ласково улыбаясь на их столь искренний порыв; императрица и наследник следовали за ним.

Я видел, что и на них устремлялись не одни только любопытные взоры, что и их провожали те же громкие, не подогретые приказом начальства клики, то же искреннее воодушевление.

Я не знаю, что я тогда записал в свой, теперь уже пропавший дневник, но я чувствую и сейчас, как отрадно было сознавать себя русским, какой надеждой были проникнуты мысли, как я верил в те часы в неизменное, не поддающееся никаким искушениям величие и благородство моей Родины.

Об этих кликах, об этом воодушевлении вспомнил я и потом, всего через несколько коротких месяцев, в тяжелом разочаровании, в несчастный, пасмурный февральский день, в Ставке, когда мне пришлось докладывать государю телеграммы о взбунтовавшихся этих же самых запасных частях.

Вспоминал о них невольно затем и в Пскове, в начале проклятого марта, когда уже все совершилось, когда не о чем было уже думать и, казалось бы, не о чем было и вспоминать.

Быть может, вспоминал о них и сам государь, когда в мучительном раздумье в купе своего кабинета в императорском поезде он принимал роковое не только для него, но и для всей России решение.

Не казались ли ему, ввиду такой изменчивости, более убедительными и доводы его главнокомандующих, что войска уже действительно настроены теперь против него, или, быть может, наоборот, мелькнула у него другая, менее безотрадная мысль, что одно его появление может заставить иначе биться солдатское сердце и что настоящий отклик страны он найдет не в телеграммах председателя «русской думы» и своих генерал-адъютантов⁹, а на фронте среди не лукаво-мудрствующих и им так любимых за это русских людей.

К мысли этой он, наверно, возвращался не раз – он ведь так верил в любовь простого русского народа к своему царю и столько раз чувствовал неподдельные тому доказательства.

Эта мысль могла быть верной и, пожалуй, единственно соответствовавшей тогдашней предательской обстановке; выход из той западни, куда клевета и измена завлекла вместе с ним и весь русский народ, был тогда уже не легкий, конечно, но все же был.

Отчего же он не попытался смело и убежденно пойти к этому выходу?

Но об этом потом. До того времени мое сознание тяготили другие вопросы. Я не верил, как уже сказал, чтобы революция вспыхнула во время войны, необходимых обстоятельств, побуждавших к ней, по моему пониманию, явно не было, да и инстинкт самосохранения закулисных деятелей должен был подсказывать обратное даже самым горячим головам. Но я все же чувствовал, что желание «сделать переворот» может легко превратиться в действие, не теперь, а при неудачном окончании войны.

Мысль о необходимости дворцового переворота высказывалась уже тогда открыто, не стесняясь, даже в среде наименее, казалось бы, восприимчивой для подобных внушений.

Вспоминаю, с каким гадливым чувством мне пришлось выслушать в начале января 1917 года рассказ о том, как молодой, хорошо мне известный безусый корнет гвардейской кавалерии из семьи, всецело обязанной государю, воспитывавшийся на его счет и получавший от него ежегодно пособие для службы в полку, хвастливо, с полным самодовольством говорил: «Вот мы вернемся с войны, наведем порядок и устроим переворот».

В некоторых домах доходили до того, что громко говорили о необходимости убийства императрицы.

Но если какое-то чувство подсказывало беспечным корнетам, что игру в революцию и наведение им известного порядка надо было отложить до конца войны, то это же спасительное чувство, видимо, молчало у вдумчивых профессоров-«политиков», бросавших во время войны на всю страну обвинение в измене, свившей себе гнездо не в семье только верховного главнокомандующего русской армии, а в семье царя всей России.

Было, значит, что-то высшее, более важное, что охватывало этих людей и заставляло их забывать все, когда они произносили свои «думские» зажигательные речи? Чувством беспредельной любви к Родине объяснялись ими их слова, но почему меня, не менее беспредельно и горячо любившего свою Родину, чем эти общественные деятели, те же самые слова наполняли негодованием, доходившим почти до ненависти, и казались мне преступными и бесчестными?

Почему нас не соединяло, а наоборот, так резко разъединяло одно и то же чувство, одинаково властно, казалось бы, владевшее нами?

Вероятно, потому, что я видел и чувствовал одно – им было дано видеть и чувствовать другое.

Мы были одинаково сильно убеждены, но свои убеждения черпали из разных источников: мне нужны были ясные доказательства, и они у меня были – я черпал их не только из хорошо мне известных фактов, но и из сознания, что русского из русских и по убеждению, и по положению царя даже враг, при всем желании, не мог обвинить в измене России, – они довольствовались лишь собственными предположениями или болтовней далекой иностранной печати и на них строили свои громогласные обвинения.

У них, быть может, и была искренняя любовь к Родине, но не было благородных стремлений к выяснению правды, к беспристрастию, одним словом, не было той искренней политической частности, без которой и любовь к Родине в моих глазах являлась лишь пустым звуком, принося лишь вред.

Обвинителями на этом строгом суде Думы были все те же неопределенные слухи, та же сплетня, та же клевета. Они не были теми «неоспоримыми» доказательствами, из коих слагалось тогдашнее «общественное» мнение.

Противостоять такому неуловимому напору почти всегда невозможно. Правда, Бисмарк любил говорить, что «Эскадрон кирасир всегда сильнее общественного мнения». Сказано смело, находчиво, но и очень пренебрежительно – применимо, пожалуй, только к крикливым парламентам или болтливым не в меру политическим клубам, да и то лишь в начале. В исторической действительности намного чаще «болтовня» общественного большого мнения побеждала не только кавалерийский эскадрон и верную швейцарскую гвардию, но порою и целые армии. Если Французскую революцию, по словам Наполеона, «сделало когда-то честолюбие», то нашу, будущую революцию, если она когда-либо будет, – думал я, – сделает, конечно, не это чувство и не «священный гнев народа», а все-таки хотя и властная, но мелкая грязная сплетня с ее неизбежным, еще более отвратительным спутником – клеветой.

Я не думал, что мои горькие рассуждения окажутся такими пророческими для недалекого будущего. Но логически другого, более достойного, *непосредственного* возбудителя я в тогдашние месяцы не находил. Не нахожу его и теперь, после долгого раздумья обо всем совершившемся.

«Для того чтобы революция была возможна, – говорил и Поль Бурже, – необходимы два условия: первое, чтобы обладатель верховной власти был слишком добр; второе, чтобы правитель был унижен в общественном мнении целой кампанией клеветы, немного похожей на правду...» Все это было в моей затуманенной Родине тогда налицо...

Такова была в моих глазах обстановка начала тек позорных грязных событий, отнявших от меня все дорогое, священное, с чем была связана моя жизнь с самого детства. Эти дни еще свежи в моей памяти. Я в них вступал тогда с мыслями, верованиями и наблюдениями, изложенными выше, и тем неожиданное и большее обрушились они на меня...

Постараюсь возможно подробнее передать их по дням...

Революционные дни в Ставке и отречение государя от престола

Во вторник 21 февраля 1917 года, вечером, находясь у себя дома, в Гатчинском дворце, я получил уведомление от командующего императорской главной квартирой графа Фредерикса, что, согласно высочайшему повелению, я назначен сопровождать государя императора в путешествии в Ставку и для дальнейшего несения дежурства при Его императорском Величестве. Отбытие императорского поезда из Царского Села было назначено, насколько помню, в 2 часа дня уже на следующий день, в среду 22 февраля.

Это уведомление для меня явилось несколько неожиданным. Я накануне только что вернулся из Царского Села, со своего дежурства по военно-походной канцелярии, и тогда еще не было никаких разговоров об отъезде.

Внутреннее политическое положение было в те дни особенно бурно и сложно, ввиду чего государь все рождественские праздники, весь январь и большую часть февраля находился в Царском Селе и медлил со своим отбытием в Ставку.

Отчасти государя удерживала и болезнь наследника Алексея Николаевича и великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии Николаевны, заболевших корью и положение которых вызывало большую тревогу¹⁰.

Этой болезнью Алексей Николаевич заразился от одного из товарищей его детских игр в Ставке.

Их было двое, случайно встреченных во время прогулки в Могилеве: один кадетик Орловского, другой, кажется, Псковского или Полтавского корпусов¹¹. Очень милые, скромные мальчики, полусироты, дети очень бедных матерей, они были переведены затем в Петроградские корпуса, изредка навещали Алексея Николаевича, полюбившего их, и во время минувших рождественских праздников занесли корь из своего корпуса и во дворец.

У великих княжон болезнь, хотя и в тяжелой форме, протекала нормально, но хрупкое здоровье Алексея Николаевича очень заботило Их Величества и не предвещало близкого улучшения.

Для меня лично этот малопредвиденный и такой скорый отъезд оказался особенно сложным. Я только что накануне получил телеграмму, что мой большой родовой усадебный дом в Среднем Селе, с которым были связаны мои самые лучшие годы детской и юношеской жизни, сгорел до основания, а с ним погибла не только памятная мне обстановка, но и значительная часть моего скромного состояния.

Я наскоро сделал необходимые распоряжения, простился со своей взволнованной женой и с тяжелым чувством выехал из Гатчины утром в среду 22 февраля.

Вместе со мной поехал и преданный всей нашей семье мой дворцовый лакей, добродушный ворчун-старик В. А. Луксен, всегда сопровождавший меня в различных поездках и служивший еще отцу моей жены.

Я приехал в Царское Село, в свою, отведенную мне дворцовую квартиру, около 12 часов, переоделся в служебную форму и пошел завтракать в соседнее помещение, к моему товарищу по службе флигель-адъютанту Ден, помощнику начальника военно-походной канцелярии генерала К. А. Нарышкина.

Кроме самого хозяина и Киры Нарышкина, я застал там и жену Дена, Софью Владимировну, рожденную Шереметьеву.

Наш завтрак прошел в очень тягостном настроении, в каком мы находились все за последнее время; нам всем хотелось больше думать, чем говорить, а тогдашние «злобы дня» не могли сделать разговор для меня очень занимательным – обо всем было уже переговорено 1000 раз.

Вспоминаю только, что пребывание государя в Ставке предполагалось непродолжительным и намечалось скорое возвращение, о чем я и поспешил известить по телефону свою жену, упрасывая ее не волноваться о сгоревшем доме и оставить все распоряжения до моего возвращения.

Около 2 часов мы с Кирой Нарышкиным, ввиду поднявшейся снежной метели, направились в закрытом автомобиле на Царский павильон императорской железнодорожной ветки, где уже собрались для проводов все обычные в этих случаях лица.

Вскоре прибыли Их Величества.

Государь обошел всех собравшихся, простился в своем вагоне с императрицей, мы вошли в поезд, и он незаметно тронулся в путь.

В эту последнюю поездку государя сопровождали: министр Двора гр. Фредерикс, флаг-капитан Его Величества адмирал К. Д. Нилов, дворцовый комендант В. Н. Воейков, гофмаршал кн. В. А. Долгоруков, командир конвоя гр. А. Н. Граббе, лейб-хирург проф. С. П. Федоров, начальник военно-походной канцелярии К. А. Нарышкин и дежурные флигель-адъютанты герцог Н. Н. Лейхтенбергский и я. Комендантом императорского поезда был начальник дворцовой полиции полк. Герарди, помещавшийся в служебном вагоне вместе с начальником императорских поездов инженером Ежовым.

В другом служебном, почему-то называемом «свитском», поезде, хотя свита в нем никогда не ездила, следовавшем обыкновенно в часовом расстоянии от императорского, насколько я помню, находились генерал Цабель – командир железнодорожного полка, барон Штакельберг – чиновник канцелярии министерства Двора, генерал Дубенский, описывавший в издаваемых периодически книжках пребывание государя в действующей армии, чиновник гофмаршальской части Суслов и находившиеся в наряде офицеры собственного Его Величества полка, конвоя государя и железнодорожного батальона.

Я вошел в свое обычное угловое купе свитского вагона и сразу почувствовал некоторое облегчение от тяготивших меня мыслей о сгоревшем дорогом родовом достоянии. Я любил всегда путешествия, в особенности при таких удобных условиях; железная дорога меня всегда как-то успокаивала. Старик Лукзен уже привел мое отделение в «жилой вид», распределил вещи, разложил на письменном столе мои любимые дорожные вещицы, вынул книги, приготовил переодеться.

За окнами вагона бушевала снежная метель, а у меня было светло, тепло, уютно.

Кто мог думать, что всего через каких-нибудь 5–6 дней мне придется в этом же купе переживать мучения, которым нет названия.

Потянулась обычная в наших путешествиях жизнь, столь мне знакомая и привычная за последние годы.

Императорский поезд был невелик; он состоял в центре из вагона Его Величества, где находились спальня и кабинет государя, рядом с этим вагоном был с одной стороны наш свитский из восьми отделений, а с другой – вагон-столовая с отделением салона для приемов. Далее шла кухня с буфетом, вагон, где помещалась военно-походная канцелярия, и последний служебный вагон, где помещались железнодорожные инженеры и начальник той дороги, по которой приходилось следовать.

Время в путешествиях, если не было по пути смотров и приемов, распределялось обыкновенно, как и дома, следующим образом: завтрак в 1 час дня, обед в 8 часов вечера, дневной чай в 5 часов, вечерний около 11.

Государь вставал рано, но выходил в столовую не раньше 9 или 9 с половиной часов. Лица свиты к утреннему «breakfast» обыкновенно появлялись в разное время; некоторые из нас пили утром кофе у себя в купе, но все неизменно собирались вместе к обеду, завтраку и к дневному чаю. К высочайшему обеду, кроме лиц свиты, приглашались всегда начальник императорского поезда и начальник дороги.

Обед бывал всегда очень скромный, непродолжительный и состоял из трех блюд; в некоторые дни исключалось даже мясо. Так было и в Ставке, где, даже несмотря на приемы «знатных иностранцев», изредка наезжавших в Могилев, ничего не прибавлялось лишнего.

Вопреки кем-то пущенным слухам вина государь совершенно не любил и выпивал иногда у себя за обедом лишь одну небольшую рюмку портвейна, довольствуясь большей частью превосходным сухарным квасом.

Встав из-за стола, государь немедленно удалялся в свой вагон, где продолжал заниматься делами. Иногда, на какой-нибудь продолжительной остановке, государь выходил с противоположной стороны от платформы для небольшой прогулки.

Его всегда сопровождал при этом дежурный флигель-адъютант, ординарец-урядник конвоя и кто-нибудь из лиц свиты, вышедших также подышать свежим воздухом. Иногда вечером, когда не было очередного фельдъегеря с бумагами, перед вечерним чаем Его Величество, закончив текущие дела, чтобы отдохнуть, предлагал сыграть 2–3 партии в домино.

Обычными партнерами государя в последнее время бывали адмирал Нилов, граф Граббе и я. Играли в небольшом вагонном салоне, и проигравший обязывался снабжать папиросами один из лазаретов для раненых.

Во время движения в поезде получались на имя Его Величества агентские телеграммы, и государь обыкновенно просматривал их за утренним, дневным и вечерним чаем, передавая их затем для прочтения и нам.

Тут завязывались всегда очень оживленные беседы на известия со всех концов мира, в которых войне было отведено главное место.

Вопросов о нашей внутренней политике и «злобах дня» государь, за немногим исключением, видимо, избегал касаться. Чувствовалось, что это было отнюдь не из-за недоверия к нам, а лишь невольное нежелание Его Величества касаться в редкие минуты отдыха того, о чем ему и без того часами и днями приходилось мучительно думать одному и говорить с многочисленными другими правительственными лицами во время докладов и приемов. Но все же иногда невольно заговаривал он о них и сам.

В эту поездку государь, как и всегда, был спокоен и ровен, но что-то озабоченное, порою очень грустное на мгновение появлялось на его лице и опять исчезало...

На другой день, в четверг 23 февраля, поезд подошел к Могилеву. На платформе обычная встреча из начальников отделов в Ставке, во главе с генералом Алексеевым, начальником штаба, только что вернувшимся после болезни из Крыма.

Государь обошел всех собравшихся, а затем в автомобиле вместе с гр. Фредериксом поехал в губернаторский дом – «дворец», как его называли.

В тот день я не был дежурным и направился прямо в свою гостиницу «Франция», которая была снята гофмаршальской частью под помещение для лиц свиты.

В четверг 23-го, пятницу 24-го, субботу 25-го и воскресенье 26 февраля потянулась обычная, однообразная жизнь в Могилеве, где один день походил на другой как две капли воды.

В Ставке государь жил в довольно неуютном губернаторском доме, в котором наверху занимал две комнаты, одна служила кабинетом, другая спальней, где вместе с походной кроватью государя стояла такая же походная кровать для наследника, на которой он спал во время своих частых пребываний в Могилеве.

Рядом с кабинетом находилась большая, пустынная приемная зала и столовая, а низ дома занимала часть свиты.

Неизменно в 10¹/₂ часов утра, после утреннего чая, к которому постепенно собиралась вся ближайшая свита, государь направлялся пешком в сопровождении дежурного флигель-адъютанта и дворцового коменданта в штаб верховного главнокомандующего, где занимался с генералом Алексеевым до завтрака, который был в 1 час дня и к которому, как и к обеду в 7 с половиною вечера, приглашались все начальники иностранных военных миссий и по очереди

начальники разных отделов Ставки, а также и приезжавшие с докладом в Могилев министры и военные представители фронта.

В начале 1917 года иностранными представителями в Ставке были: от Франции – генерал Жанен, от Англии – генерал Вильямс, от Италии – генерал Ромео, от Сербии – полковник Лонткиевич и майор Мишич, от Бельгии – генерал барон Риккель, от Румынии – генерал Коанда, от Японии – генерал Исизака.

Их помощниками были: полковник Бюксеншютц, капитан Брассье, майор Эдвардс, полковник Марсенго, лейтенант Вентури.

Представитель Америки прибыл в Ставку уже после отречения государя.

При иностранцах состояли: флигель-адъютант поручик гр. Замойский и штаб-ротмистр Крупин, зять генерала Алексева, женатый на его дочери, а также полковник Базаров, наш бывший военный агент в Берлине.

Все собирались в большой зале перед кабинетом Его Величества и по выходе государя направлялись в столовую.

После завтрака государь снова занимался у себя в кабинете, подготавливая необходимые бумаги для отправки с отъезжавшим фельдъегерем, а затем, до дневного чая, Его Величество и желающие из свиты выезжали за город на автомобилях, а затем совершали несколько верст прогулки пешком, всегда быстрым шагом и возвращались к короткому дневному чаю, после которого государь снова направлялся в кабинет для работы или принимал доклады разных лиц, прибывавших из Петрограда или с фронта.

Я не помню, чтобы в последние дни кто-либо из министров или общественных деятелей приезжал в Могилев.

Настроение в Ставке, обыкновенно более бодрое и серьезное, более «разное», чем в столичном тылу, в эти дни все же мало отличалось от угнетенного петроградского.

Мне удалось лишь мельком видеть генерала Алексева и сказать с ним несколько незначительных фраз.

Скромный до застенчивости, малоразговорчивый, он был на этот раз особенно замкнутый и ушедший в себя. Видимо, он еще не оправился от своей болезни (мочевого пузыря), страдал очень сильно от нее, хотя и бодрился и не бросал даже ненужной, мелочной работы, которая поглощала все его время.

С остальными деятелями Ставки меня и не тянуло говорить в эти дни – я знал заранее, к каким сетованиям сведутся все их разговоры и на какие сплетни будут осторожно, но настойчиво намекать.

Генерала Алексева я хотя знал давно – еще когда он был молодым армейским пехотным офицером, только что окончившем академию и обучавшим топографическим съемкам юнкеров кавалерийского училища, но все же знал очень мало, почти не знал совсем.

Я его тогда же потерял из виду и встретился с ним мельком через четверть века, лишь как с главнокомандующим западного фронта в Барановичах.

Он и через 26 лет остался тем же скромным, застенчивым человеком, далеким от карьеризма и, как мне казалось, сплетен и к которому я чувствовал поэтому невольную симпатию.

Эти основные качества его натуры были, по-моему, очень схожи с простотою и замкнутым же, скромным, стесняющимся характером моего государя, и я убежден, по многим признакам, что Его Величество относился к генералу Алексеву с большей симпатией и любовью, чем к другим генералам, не обладавшим такими же чертами характера.

Понимал ли генерал Алексеев государя настолько, чтобы любить его как человека, был ли предан ему, как настоящий русский своему настоящему русскому царю, знал ли о заговоре? Вот те вопросы, которые я задавал себе неоднократно тогда и потом, и как тогда, так и долго потом не мог себе с достаточной ясностью на них ответить.

Многое, а после отречения и очень многое, судя по рассказам его близких, мне говорило «да», хотя всегда с неопределенною прибавкою: «но вряд ли достаточно», хотя бы до забвения сплетен. Я еще тогда не понимал, что можно самому не сплетничать, молчаливо сплетни выслушивать и все же одновременно иметь возможность, даже от них отворачиваясь, этим сплетням верить.

Императрица Александра Федоровна, насколько мне известно, относилась к генералу Алексееву сначала хорошо, потом все с большим недоверием. Ей сообщили о какой-то связи Алексеева с Гучковым, и это ее возмущало. Но нам, свите, эта подозрительная связь хотя и не нравилась, но казалась безопасной. Я лично думал, что Алексеев лишь «пробует» Гучкова, чтобы вывести его «на чистую воду»...

Генерал Борисов, близкий друг М. В. Алексеева, в частых разговорах со мною после отречения неоднократно выражал сожаление, что государь «не сумел с достаточною силою привязать к себе Михаила Васильевича и мало оказывал ему особенного внимания, недостаточно выделяя его якобы от других». «Тогда все было бы, конечно, иначе», – неизменно с полным убеждением доказывал мне Борисов.

Я не думаю, чтобы это было так.

Генерал Алексеев, по свойству своего характера, ничего, наверное, показного не требовал и тем менее домогался. Он даже отказывался от звания генерал-адъютанта, говоря графу Фредериксу, «что такой милости он еще не заслужил».

Хотя кто его знает – человеческая натура, в общем, странная вещь. Суворов, Кутузов и другие русские и иностранные полководцы, стоя даже на верху славы, были очень чувствительны к этому человеческому недостатку, и, быть может, в глубине души и Алексееву такие кажущиеся безразличие и «сравнение с другими» и были неприятны.

Но холодности и безразличия к нему со стороны государя в действительности не было, чему я бывал не раз свидетелем, и генерал Алексеев, если он был чуткий человек и понимал своеобразную, сдержанную, но и сердечную натуру государя, мог бы это подтвердить и сам.

Вспоминаю один вечер перед пасхальной заутреней 1916 года, когда государь потребовал из военно-походной канцелярии генерал-адъютантские погоны и аксельбанты и направился вместе со мной, бывшим дежурным флигель-адъютантом, в помещение генерала Алексеева, чтобы лично сообщить ему о пожаловании его своим генерал-адъютантом.

Его Величество довольно долго оставался в комнате своего начальника штаба и вышел оттуда довольно взволнованный.

Чтобы скрыть свое волнение, государь не сразу вернулся в ярко освещенный губернаторский дом, а войдя во двор штаба, где был маленький садик, предложил прогуляться. В садике было пустынно и темно; мы сделали молча несколько кругов; волнение государя, я чувствовал, уже начало проходить:

– Ну, что, Ваше Величество, – спросил я, – генерал Алексеев был очень доволен?

– Удивительно милый и скромный человек, – ответил только с искренней теплотой государь и опять задумался.

Вызывалось ли тогдашнее печальное настроение и задумчивость государя именно свиданием с генералом Алексеевым, я не знаю.

Вернее всего, лишь отчасти: в ту вечернюю нашу прогулку в темном садике мысли государя, вероятно, были далеки и от штаба, и от генерала Алексеева. Они сосредоточивались на его отсутствовавшей семье. Без нее государь всюду чувствовал себя одиноким, а та пасхальная ночь была первая, которую ему приходилось проводить вдали от своих. Лишь мой вопрос заставил его кратко отозваться с такой запомнившейся мне теплотой о своем начальнике штаба.

Все же нельзя сказать, чтобы к генералу Алексееву в те тяжелые смутные дни свита, находившаяся в Ставке, относилась с безусловным доверием и надеждой.

Что-то очень неопределенное, хотя и мало подозрительное, заставляло большинство из нас желать постоянной, а не временной, лишь ввиду болезни генерала Алексеева, замены его генералом Гурко, обладавшим, по нашему разумению, более решительными качествами характера и более прочно сложившимися традициями, чем генерал Алексеев, нуждавшийся к тому же в продолжительном отдыхе.

Желание это высказывалось нами неоднократно в наших интимных беседах за последние месяцы, было, конечно, совершенно далеким даже от намека на какую-либо «интригу» и осталось в числе тех многих платонических пожеланий, которыми мы иногда себя тешили в те дни.

Но к чести Алексеева надо отнести все же то, что он был единственным из сменявшихся впоследствии главнокомандующих, который решительно отказался жить в Ставке в комнатах, занимаемых ранее государем императором, и выбрал себе внизу губернаторского дома скромное помещение прежней военно-походной канцелярии.

По его словам, переданным мне его зятем и дочерью, он «считал для себя святотатством пользоваться обстановкой и мебелью, которые напоминали ему живо ушедшего императора».

Как бы иронически ни воспринимались многими эти слова, сказанные человеком, так много способствовавшим этому «уходу», в искренности их все же трудно сомневаться.

При многих недостатках характера Алексеев все же обладал простой русской душой и не любил громких фраз.

Я убежден, что он, в полную противоположность многим, не переставал мучиться своей ясно им с первых же дней отречения сознанный виной. «Никогда себе не прощу, – говорил он в начале марта, – что поверил искренности некоторых лиц и послал телеграммы с запросом командующим фронтами...»¹²

Но продолжал ли бы он мучиться ею, если бы переворот оказался «удачным» и «мирным» – я не знаю, а это для меня, конечно, было главным в моих внутренних суждениях о людях и событиях. Хочется думать, что его простая, чисто народная религиозность делает и такое предположение довольно вероятным...

Чтобы высказать полнее мое откровенное суждение о генерале Алексееве, мне приходится отступить здесь ненадолго от моего дальнейшего рассказа.

Лишь находясь на чужбине, я узнал многие подробности о том участии, которое принимал Алексеев в подготовке к свержению государя. Это участие, вернее, какое-то его равнодушное, граничившее почти с согласием отношение к главным заговорщикам, установлено теперь в печати более или менее точно и, конечно, является преступным.

Но в этом повинен не только он один. Почти все тогдашнее русское общество, вплоть до многих великих князей включительно, совершенно не отличалось в своих откровенно высказываемых желаниях от втайне работавших заговорщиков.

Когда я думаю о том времени, меня постоянно удивляет, почему эти заговорщики были тогда так разрознены и сочли нужным прикрываться глубочайшей таинственностью даже от своих самых рьяных единомышленников?

Ведь их заговоры были тайной Полишинеля не только для государственной полиции, но и для всякого, тогда особенно политически настроенного обывателя, они могли опасаться только остального, далекого от политики русского народа да верных престолу русских войск. Но эти войска находились далеко на фронте, а великий по многочисленности, здравому смыслу и тогдашнему настроению простой русский народ пребывал в рассеянии по всему необъятному простору Российской империи и не мог, конечно, вовремя помешать задуманному в столице преступлению.

Государственная полиция только наблюдала, а правительство уже давно бездействовало. Этому бездействию во многом помогала и благородная, непоколебимая вера государя в свои войска и уверенность, «что во время войны, уж конечно, никакого переворота не будет».

Все же обширное светское, городское и земское, общество, в котором вращались, как у себя дома, большие и малые заговорщики, было явно на их стороне. Но все же, думая с возмущением в числе этих «всех» и о генерале Алексееве, я должен сказать, что вначале он был, пожалуй, самым из них «безобидным».

Он не посягал еще тогда на священные права своего государя, считал необходимым его оставление на престоле и сочувственно соглашался, и то, если верить слухам, лишь на временное отделение императрицы от своего супруга и на почетную, временную ссылку ее на жительство в Крым.

Конечно, его близость по должности к своему императору и доверие, которое ему оказывал государь, вместе с благосклонностью, оказанной ему не раз самой императрицей, делают и подобное его общение с заговорщиками как особенно непривлекательным, так и особенно преступным.

Он был, безусловно, виновен, как все, и все же по сравнению с другими, по своим поступкам в эту последнюю перед революцией пору, он заслуживает большого снисхождения.

Большого потому, что в решительные месяцы он, видимо, одумался и резко отмежевался от заговорщиков, убеждая их хоть на время войны отказаться от их замыслов. Говорят даже, что он не принял приехавшего к нему для решительных переговоров в Крым князя Львова и отказался от всяких политических разговоров¹³.

Уже одно это показывает, насколько мало он желал тогда не только насильственного, но и добровольного отречения своего верховного вождя, продолжая лишь настаивать на ответственном министерстве. Вряд ли и эти настояния подкреплялись у него – в общем, мудрого старика – глубокими убеждениями.

Его нелестные мнения о тогдашней общественности и тогдашних общественных деятелях слишком часто совпадали с такими же мнениями о них государя, о чем, конечно, было известно главным заговорщикам.

В этом отношении особенно показательна резко отрицательная характеристика, данная Алексееву в письме Родзянко к князю Львову¹⁴, где Родзянко усиленно противился назначению Алексеева на должность верховного главнокомандующего после отречения государя и в таких выражениях писал о нем:

«Вспомните, что генерал Алексеев являлся постоянным противником мероприятий, которые ему неоднократно предлагали из тыла как неотложные; дайте себе отчет в том, что он всегда считал, что армия должна командовать над тылом и над волею народа и что армия должна как бы возглавлять собою и правительство и все его мероприятия. Вспомните обвинения генерала Алексеева, направленные против народного представительства, в которых он неоднократно указывал, что одним из главных виновников надвигающейся катастрофы является сам русский народ в лице своих народных представителей. Не забудьте, что генерал Алексеев настаивал определенно на немедленном введении диктатуры...»

Это письмо яснее всего показывает, насколько генерал Алексеев не был «близким своим» среди заговорщиков и насколько деятельность «думских» кругов он считал вредной и опасной. Вплоть до начала переворота он шел вразрез с их затаенными желаниями: советовал государю собрать значительный отряд и наступать на бушующий Петроград, уговаривал его оставаться в Ставке и не ехать в Царское Село, а когда государь все-таки выехал, в своей телеграмме от 28 февраля¹⁵ главнокомандующим громко призывал всех ему подчиненных «исполнить свой священный долг перед государем и Родиной». И это в те дни, когда враги государя призывали к совершенно обратному.

Вероятно, поэтому заговорщики и опасались избрать местом своих действий Ставку, а предполагали совершить свое «действие» в пути на одной из станций в Новгородской губернии.

Утренней телеграммой от 28 февраля 1917 года о священном долге перед государем да его тяжелым болезненным состоянием и кончаются для генерала Алексеева особенно смягчающие его последующую вину перед императором и Родиной обстоятельства.

Они начинаются для него вновь – но уже по отношению к одной только Родине – лишь в ноябре того же года, когда он положил начало белой армии и тем спас честь и достоинство России¹⁶.

Именно этот последний поступок уже смертельно больного старика и заставляет меня относиться к нему не только с особенной, должной непредвзятостью, но и известной теплотой и прощением. Я убежден, что и мой государь, русский из русских, возвысившийся до прощения всех своих врагов, был за это ему горячо благодарен.

Позорные, растерянные дни начала марта 1917 года для современника, переживавшего их в Пскове и Могилеве вместе с русским царем, конечно, навсегда останутся мучительными до боли. Строгие судьи поэтому выносят главным участникам их суровый, но и справедливый приговор.

Все же я видел нелицемерные слезы на глазах Алексеева при прощании с государем утром в Штабе 8 марта, но мне не приходилось видеть этих слез у других лиц, с таким жаром впоследствии на него нападавших¹⁷.

Какими движениями души вызывались они у него, я, конечно, не знаю.

Знаю твердо только одно: настоящие заговорщики никогда не плачут, расставаясь со своей, ненавидимой ими жертвой...

До меня также не раз доходили слухи о том, что генерал Алексеев не оставался, как его упрекали, равнодушным к участи арестованной царской семьи и старался по собственному почину организовать ее спасение из Екатеринбурга.

Правда, слухи эти были весьма неопределенны, порою противоречивы, и проверить их правильность мне до сих пор не удалось, но, размышляя часто о внутреннем мире Алексеева-после переворота, я думаю также и то, что подобные попытки с его стороны могли быть очень близки к действительности...

* * *

Но вернусь к продолжению моего рассказа.

В субботу 25 февраля была наша последняя продолжительная прогулка с государем по живописному Могилевскому шоссе к часовенке, выстроенной в память сражения в 1812 году, бывшего между нашими и наполеоновскими войсками.

Перед прогулкой государь заходил ненадолго в Могилевский монастырь, чтобы приложиться к чудотворной иконе Могилевской Божией Матери.

Был очень морозный день с сильным ледящим ветром, но государь, по обыкновению, был лишь в одной защитной рубашке, как и все мы, его сопровождавшие.

Его Величество был спокоен и ровен, как всегда, хотя и очень задумчив, как все последнее время. Навстречу нам попадалось много людей, ехавших в город и с любопытным недоумением смотревших на нас.

Помню, что, несмотря на вьюгу, государь остановился около одной крестьянской семьи и с ласковой и доброй улыбкой поговорил с ними, расспрашивая, куда они идут и как живут.

Помню, что во время этой прогулки Его Величество сообщил мне, что получил печальное известие о том, что великая княжна Анастасия Николаевна заболела корью и что теперь из всей семьи только Мария Николаевна еще на ногах, но что он опасается, что и она скоро разделит участь своих сестер.

Вечером в этот день государь был, по обыкновению, у всенощной.

В воскресенье 26 февраля (11 марта) утром, как всегда пешком, в сопровождении свиты, Его Величество отправился в штабную церковь к обедне, и, как всегда, большая толпа народа собралась по сторонам прохода на площади, чтобы посмотреть на своего царя.

Я вглядывался в лица людей, с искренним любовным чувством следивших за государем, крестивших издали его путь, и не мог найти и тогда того «одного лишь простого любопытства согнанного полицией благонадежного народа», как всегда о подобных случаях любила утверждать наша «передовая» общественность.

После церкви государь прошел для занятий в штаб, где оставался очень долго.

Прогулки в этот день из-за мороза, выюги и легкой простуды государя не было, чем я воспользовался и прошел в Могилевскую городскую думу, где находились портреты императора Павла работы Боровиковского, с которых я просил нашего придворного фотографа Гана снять фотографии¹⁸, так как намеревался заказать с этих портретов копии взамен сгоревших у меня вместе с моим деревенским домом таких же точно картин Боровиковского.

Мне этих портретов было более жаль, чем самого дома, так как они были единственными в своем роде.

Я тогда еще мог думать о таких мелочах и даже строить предположения о недалеком будущем!

Вечер этого последнего относительно спокойного для меня дня прошел обычным порядком.

Ввиду воскресенья посторонних докладов не было, и после долгого промежутка мы, адмирал Нилов, гр. Граббе и я, по предложению Его Величества сыграли с ним две партии в домино, но государю было, видимо, не по себе, и мы вскоре разошлись.

В понедельник, 27 февраля, я был дежурным при Его Величестве. Утром государь отправился, по обыкновению, в штаб, где и оставался необычно долго.

В ожидании выхода государя от генерала Алексеева я прошел в одну из комнат генерал-квартирмейстерской части, где встретил генерала Лукомского, бывшего тогда генералом-квартирмейстером в Ставке.

Он был, видимо, чем-то очень взволнован и удручен. На мой вопрос: «Что нового?» и «Что случилось?» – он мне ответил, что на фронте, слава Богу, ничего худого, но что ночью получились известия, что в Петрограде со вчерашнего дня начались сильные беспорядки среди рабочих, что толпа громит лавки, требует хлеба и настолько буйствует, что приходится употреблять в дело войска, среди которых много ненадежных.

Генерал Беляев, бывший тогда военным министром, хотя и успокаивает, что беспорядки будут прекращены, но генерал Хабалов, командующий войсками округа, говорит другое и просит подкреплений, так как не надеется на свои запасные части.

Была получена телеграмма и от Родзянки, указывавшего, что единственная возможность прекратить беспорядки – это немедленное формирование ответственного министерства.

Но по имевшимся сведениям, в то время, несмотря на снежные заносы, Петроград был обеспечен продовольствием на 8 дней, а войска Северного фронта даже на полмесяца.

Государь оставался долго у генерала Алексеева и вернулся, опоздав в первый раз к завтраку, видимо, очень озабоченный.

Иностранные представители, вероятно, уже получившие тревожные сведения от своих посольств, были очень смущены, но также и они надеялись, что беспорядки будут вскоре прекращены; по крайней мере они это высказывали довольно искренно и убедительно.

После завтрака, около 2 часов дня, когда я спускался по лестнице вместе со всеми приглашенными, чтобы пойти на свободный час домой, на нижней площадке меня остановил, с крайне озабоченным видом, дежурный полковник штаба, кажется, Гюлленбегель, с открытыми телеграммами в руке.

«Генерал Алексеев, – обратился он ко мне, – приказал передать вам лично эти телеграммы и просить вас, чтобы вы лично же, не передавая их никому другому, немедленно же доложили Его Величеству».

На мой вопрос, что это за телеграммы, полковник отвел меня в сторону, к окну, и сказал: «Вот прочтите сами, что делается в Петрограде. Сейчас, когда я уходил из штаба, я мельком видел, что получились и еще более ужасные известия».

Я наскоро, взволнованный, просмотрел протянутые мне телеграммы; их было две, одна от генерала Беляева, другая от генерала Хабалова, обе на имя начальника штаба для доклада государю.

В обеих говорилось почти одно и то же, «что войска отказываются употреблять оружие и переходят на сторону бунтующей черни; что взбунтовались запасные батальоны Гренадерского и Волынского полков, перебили часть своих офицеров и что волнение охватывает и другие части».

Они прилагают все усилия, чтобы с оставшимися немногими верными присяге частями подавить бунтующих, но что положение стало угрожающим и необходима немедленная помощь».

«Генерал Алексеев, – добавил мне штаб-офицер, – уже докладывал утром Его Величеству о серьезности положения, и подкрепления будут посланы, но с каждым, видимо, часом положение становится все хуже и хуже».

Не буду говорить, что перечувствовал я в эти 3–4 минуты, читая такие неожиданные для меня известия и подымаясь наверх к кабинету государя. Я постучал и вошел.

Его Величество стоял около своего письменного стола и разбирал какие-то бумаги.

– В чем дело, Мордвинов? – спросил государь.

Наружно он был совершенно спокоен, но я чувствовал по тону его голоса, что ему не по себе и что внутренне его что-то очень заботит и раздражает.

– Ваше Величество, – начал я, – генерал Алексеев просил вас представить эти только что полученные телеграммы... Они ужасны... В Петрограде с запасными творится что-то невозможное...

Государь молча взял телеграммы, бегло просмотрел их, положил на стол и немного задумался.

– Ваше Величество, что прикажете передать генералу Алексееву? – прервал я эту мучительную для меня до физической боли паузу.

– Я уже знаю об этом и сделал нужное распоряжение генералу Алексееву. Надо надеяться, что все это безобразие будет скоро прекращено, – ответил с сильной горечью и немного раздраженно государь.

– Ваше Величество, мне дежурный штаб-офицер сказал, что видел в штабе новые, уже после этих полученные телеграммы, где говорится, что положение стало еще хуже, и просят поторопить с присылкой подкреплений.

– Я еще увижу генерала Алексеева и переговорю с ним сам, – спокойно, но, как мне почувствовалось, все же довольно нетерпеливо сказал государь и снова взял со стола положенные телеграммы, чтобы их перечитать.

Я вышел, как сейчас помню, с мучительной болью за своего дорогого государя, со жгучим стыдом за изменившие ему и Родине хотя и запасные, но все же гвардейские части.

Но я был далек и тогда еще от мысли, что этот солдатский бунт и буйство городской черни через два-три дня завершатся событиями, которые будет проклинать всяких русский и позора которых с русского имени не смогут смыть и последующие века.

Я хотел верить и успокаивал себя, что присланные, настоящие военные части сумеют восстановить порядок и образумить свихнувшихся мирных тыловигов, так как кто-то мне сообщал, что приказано немедленно двинуть гвардейский полк из Новгорода на Петроград.

Я не помню, как прошел остаток этого тяжелого, волнующего дня.

Помню только, что генерал Алексеев приходил с коротким докладом к государю и как затем Его Величество сам отправился в штаб с телеграммой на имя председателя совета министров князя Голицына, в которой не соглашался ввиду создавшегося положения на испрашиваемые перемены в составе правительства и приказывал, чтобы все оставались на местах.

Генерал Алексеев был очень болен; вид у него был лихорадочный; он был апатичен, угнетен.

Он мне сказал, что получены были еще телеграммы от Родзянко и от князя Голицына. Первый просил вновь настойчиво о сформировании ответственного министерства, второй об отставке.

Генерал Дубенский в своей статье «Как произошел переворот в России» пишет, что 27 февраля в Могилеве государь послал в Петроград телеграмму, выражавшую согласие на образование ответственного министерства, и что телеграмма эта была якобы послана после совещания у Его Величества, на котором присутствовали гр. Фредерикс, генерал Алексеев и генерал Воейков.

Об этом «экстренном заседании под председательством государя» упоминает и А. Блок в своей статье «Последние дни царского режима», добавляя, что, согласно дневнику Дубенского, «Алексеев при этом умолял государя согласиться на требование Родзянко дать конституцию, Фредерикс молчал, а Воейков настоял на неприятии этого предложения и убеждал государя немедленно выехать в Царское Село»¹⁹.

В данном случае оба автора впадают в большую ошибку. Я был именно в этот день дежурным при Его Величестве и знаю точно, что подобного совещания в тот день – тем более и раньше – не было.

Вообще в интересной статье генерала Дубенского, да и не у него одного, к сожалению, много путанного и неверного.

Потребовалось бы слишком много времени, чтобы указать на все его досадные неточности. Винить его за эти неточности никаким образом нельзя. Они были у него невольны.

Он не принадлежал к личной свите государя императора, стоял по своему положению более или менее далеко от придворного быта и не соприкасался непосредственно с домашнею жизнью царской семьи.

Как и для большинства служебных лиц, находившихся в Могилеве и живших не вблизи, а лишь около царя, так и до него доходили слишком часто лишь «достоверные» слухи и рассказы, наполнявшие в ту пору жизнь Ставки.

Разобраться в действительной достоверности всего им воспринимаемого и ему, несмотря на всю его наблюдательность, было нелегко. Все тогда клекотало, все поражало своею неожиданностью и своими противоречиями. Но он был русский душою и сердцем и один из слишком немногих, с физическою болью переживший дни отречения...

Вечером в тот же день, 27 февраля, около 10¹/₂ часов, во время нашего чая, когда ни граф Фредерикс, ни Воейков обыкновенно не появлялись, они оба неожиданно вошли к нам в столовую.

Граф Фредерикс приблизился к государю и попросил разрешения доложить о чем-то срочном, полученном из Царского Села.

Его Величество встал и вышел вместе с ним и генералом Воейковым в соседний зал, где доклад и переговоры продолжались довольно долго. Государь затем вернулся к нам один, но был, видимо, очень озабочен и вскоре удалился в свой кабинет, не сказав нам ни слова, о чем шла речь.

Мы совершенно не знали, чем вызван был доклад министра Двора, но, судя по озабоченности государя и по отрывкам долетавшего до нас из открытой двери разговора, догадывались,

что положение в Царском Селе становилось серьезным и опасным, о чем сообщал по телефону из Александровского дворца граф Бенкендорф.

Встревоженные, мы начали расходиться по своим помещениям, а профессор Федоров отправился к графу Фредериксу, чтобы узнать подробности волновавших нас событий.

Внизу, в передней, ко мне подошел скороход Климов и предупредил, что, по имеющимся у него сведениям, завтра утром назначено наше отбытие в Царское Село, что час отъезда еще точно не установлен и будет сообщен дополнительно, но что всей свите приказано готовиться к отъезду. Этот отъезд предположен был заранее, еще до петроградских событий.

Я направился к себе в гостиницу «Франция», чтобы отдать распоряжение своему старику Лукзену, и, к своему удивлению, нашел его почти готовым к отъезду, с уложенными уже вещами, ожидающим только присылки автомобиля, чтобы ехать на вокзал.

Оказывается, что за несколько минут до моего прихода было передано по телефону извещение всем быть немедленно готовыми к отъезду, так как императорский поезд отойдет не завтра утром, а сегодня же около 12 часов ночи.

Было уже около половины двенадцатого, я был дежурным флигель-адъютантом и потому поспешил вернуться в губернаторский дом.

Внизу шла обычная перед отъездом суматоха; наверху, в полуосвещенной большой зале перед кабинетом государя, было пусто и мрачно. Пришел, медленно ступая, и генерал Алексеев, чтобы проститься с Его Величеством.

Он оставался довольно долго в кабинете и наконец вышел оттуда. Вид его был еще более измучен, чем днем. Его сильно лихорадило. Он как-то осунулся и говорил апатично, но, прощаясь, немного оживился и, как мне показалось, с особенной сердечностью пожелал нам «счастливого пути», добавив:

– Напрасно все-таки государь уезжает из Ставки – в такое время лучше всего оставаться здесь; я пытался его отговорить, но Его Величество очень беспокоится за императрицу и детей, и я не решился очень настаивать.

На мой вопрос, не наступило ли улучшение в Петрограде, Алексеев только безнадежно махнул рукой:

– Какое там! Еще хуже! Теперь и моряки начинают, да и в Царском уже началась стрельба.

– Что теперь делать? – спросил я, волнуясь.

– Я только что говорил государю, – ответил Алексеев, – теперь остается лишь одно: собрать порядочный отряд, где-нибудь примерно около Царского, и наступать на бунтующий Петроград. Все распоряжения мною уже сделаны, но, конечно, нужно время – пройдет не меньше 5–6 дней, пока части смогут собраться; до этого с малыми силами ничего не стоит и предпринимать.

Генерал Алексеев говорил это таким утомленным голосом, что мне показалось, что он лично сам не особенно верит в успешность и надежность предложенной им меры.

– Ну, дай Бог вам всем всего лучшего в вашей поездке, – в заключение, опять немного оживляясь, сказал он, – чтобы все кончилось у вас благополучно... На всякий случай впереди вас пойдет Георгиевский батальон с Ивановым, но вряд ли вам будет возможно выехать раньше утра – ведь надо время, чтобы уведомить все пути о вашем маршруте...

Совет генерала Алексеева наступать на Петроград извне, а не вводить туда постепенно прибывающие с фронта войска был, в общем, совершенно правилен и соответствовал создавшейся обстановке.

Он подкреплялся даже историческими примерами. Можно сделать любопытный вывод из истории революций, ареной которых так часто бывал Париж. Каждый раз, начиная с Карла V в 1358 году и кончая Тьером в 1871 году, когда правительство вело борьбу против восставшей столицы – оно вело эту борьбу именно извне, покинув город, и оставалось поэтому победителем.

Наоборот, революция неизменно брала верх, если борьба велась внутри бунтовавшего города. Тьер, когда подавлял Коммуну, воспользовался подобной тактикой австрийских генералов по отношению к Вене в 1848 году.

Революционеры тогда оставались, правда, господами столицы, но столицы, отделенной от страны, и были легко побеждены.

Страна оставалась к ним равнодушной и не стремилась их выручать.

Неудачный поход Корнилова в августе²⁰ не служит противоречием этому правилу. Корниловское предприятие было правильно задумано, но по-детски произведено. Ни одной положительной стороны, в смысле военном, в этом движении на Петроград нельзя указать. Оно являло собой яркий пример, как не надо поступать в подобных случаях...

Двери кабинета наконец раскрылись. Государь вышел, уже одетый в походную солдатского сукна шинель и папаху.

Его Величество еще раз простился с генералом Алексеевым, пожав ему руку, сел в автомобиль с гр. Фредериксом, я сел в другой с дворцовым комендантом Воейковым, и мы поехали на вокзал. Было уже около часа ночи.

В. Н. Воейков по дороге, как всегда, был не разговорчив о служебных делах и на мои попытки подробнее узнать, чем вызван такой внезапный отъезд, отвечал многозначительным молчанием или уклончиво, с раздражением отзывался о Родзянко и К^о, но был убежден, что генерал Иванов сумеет справиться с бунтующими запасными и фабричными.

Таким же иллюзиям невольно поддавался и я – без них было бы слишком уж тяжело на душе...

При входе в поезд нас встретил дожидавшийся у вагона государя генерал-адъютант Иванов, спокойный, видимо, уверенный в себе и в возможности справиться с бунтом и защитить царскую семью.

Впоследствии он мне довольно подробно рассказывал о своем, вынужденном якобы тогда бездействии. К сожалению, его рассказ, в общем, туманный и неопределенный, не сохранился в моей памяти.

Вспоминаю только то, что он рассказывал о полученной им 2 марта телеграмме от государя, предписывавшей ему ничего не предпринимать до возвращения Его Величества в Царское Село, а также высказывал искреннее удовлетворение, что его действия «не вызвали пролития ни одной капли русской крови», что было бы полным отчаянием для Ее Величества, которую он посетил глубокой ночью, немедленно после того, как беспрепятственно прибыл в Царское Село, и которая его об этом настойчиво просила.

Генерал Иванов вошел в вагон вместе с государем и оставался недолго у Его Величества.

Георгиевский батальон, кажется, с небольшой частью сводного полка был уже почти погружен и должен был отправиться раньше нас, по более близкому, как оказалось, направлению на Витебск – Царское Село.

Таким образом, он совсем не шел «на всякий случай впереди нас», как о том говорил мне генерал Алексеев. Мы двигались на Вязьму, Лихославль, Бологое, Тосно. Впереди нас, кроме поезда литеры «В», никого не было.

Обстоятельства, почему генерала Иванова с отборною, как мы думали, частью войск направили не впереди нас, а по совершенно другому пути, вызывают невольно горькие подозрения.

Разъяснения, что его отправили по кратчайшему пути, чтобы он скорее мог добраться до Царского и до бунтующего Петрограда, являются малоубедительными.

В такой же поспешности еще более нуждался и государь. Именно для него, как мне сказал Алексеев, прежде всего и предназначался этот авангард.

Возражение, что по пути Иванова на Витебск не стояло обычно военной охраны, необходимой для проезда царских поездов, а потому нас направили по другому, заранее намеченному пути, еще менее основательно.

Иванов мог и должен был следовать тогда по нашему пути через Бологое, Тосно, где должна была бы уже стоять по своим местам охрана. Ведь именно на его отряд была возложена обязанность пробивать нам дорогу, если бы ее кто-либо преградил.

Сам Иванов говорил мне, что он был убежден, что благодаря тому, что следуем за ним, спокойно доедем до Царского Села...

Проходя в свое купе, я зашел в отделение профессора Федорова, где были и другие мои сослуживцы.

Из наших разговоров наконец выяснилось, что такой внезапный отъезд вызван был сильным беспокойством государя за императрицу и больную семью, так как Царское Село с утра было уже охвачено волнением, и пребывание там было небезопасно.

Государыня через графа Бенкендорфа, обер-гофмаршала, спрашивала у государя по телефону совета, как ей лучше поступить: переехать немедленно с больными детьми для пребывания вместе с государем в Могилев или лишь выехать нам навстречу, чтобы соединиться где-нибудь в пути, но после вечерних переговоров графа Фредерикса с государем было решено, чтобы вся царская семья до прибытия генерала Иванова, а затем и нас оставалась в Царском Селе или, если бы обстоятельства этого потребовали, переехала бы в Гатчинский дворец, находившийся в 40 верстах от Петрограда.

В Гатчине было еще спокойно, и тамошний гарнизон был верен присяге¹.

Генерал Лукомский и другие, говоря в своих воспоминаниях об отъезде государя из Могилева, останавливаются на одном предположении: «что, находясь в Ставке, государь якобы не чувствовал твердой опоры в своем начальнике штаба генерале Алексееве и надеялся найти более твердую опору в лице генерала Рузского в Пскове».

Это, конечно, совсем далеко от действительности.

К генералу Рузскому и его прежнему, до генерала Данилова, начальнику штаба генералу Бонч-Бруевичу, да и самому Данилову Его Величество, как и мы все, относился уже давно с безусловно меньшим доверием, чем к своему начальнику штаба.

Наше прибытие в Псков явилось лишь вынужденным и совершенно непредвиденным при отъезде.

Государь, стремясь возможно скорее соединиться со своей семьей, вместе с тем стремился быть ближе и к центру управления страной, столь удаленному от Могилева.

Мы оставались уже долго в купе у Федорова, взволнованно строя разные предположения о разыгравшихся событиях, но, узнав, что поезд отойдет не ранее 5 утра, наконец разошлись по своим отделениям.

28 февраля, утром, я проснулся, когда поезд был уже в движении. Погода изменилась – в окно вагона светило солнце, и как-то невольно стало спокойнее на душе после мучительной, в полузабытье проведенной ночи.

Размеренная, обычная жизнь вступала в свои права, и хоть ненадолго, вместе с надеждами, отгоняла тяжелые мысли от всего того, что совершалось тогда, далеко еще за пределами моего уютного вагона.

Я быстро оделся и направился в столовую.

Государь был уже там, более бледный, чем обыкновенно, но спокойно-ровный и приветливый, как всегда. Разговор был не очень оживленный и касался самых обыденных вещей.

¹ Как жаль все-таки, что государь отклонил желание государыни соединиться с ним в пути или даже прибыть к нему в Могилев. Я убежден, что присутствие в те дни около него императрицы сказалось бы самым благожелательным образом на моей Родине: отречения от престола, конечно, не было бы, как и всего того, что за этим отречением последовало.

Мы проезжали замедленным ходом какую-то небольшую станцию, на которой стоял встречный поезд с эшелоном направлявшегося на фронт пехотного полка.

Им, видимо, было уже известно о проходе императорского поезда: небольшая часть людей с оркестром стояла выстроенной на платформе, часть выскакивала из теплушек и пристраивалась к фронту. Остальные густой толпой бежали около наших вагонов, заглядывая в окна и сопровождая наш поезд.

Его Величество встал из-за стола и подошел к окну.

Звуки гимна и громовое «ура» почти с такой же искренней силой, как я когда-то слышал на последнем смотре запасных в Петрограде, раздались с платформы при виде государя и невольно наполнили меня вновь чувством надежды и веры в нашу великую военную семью и в благоразумие русского народа.

Но это было только мгновение.

Стоявший рядом со мной у окна Кира Нарышкин мне тихо, отвечая, видимо, на свои невеселые мысли, шепнул:

– Кто знает – быть может, это последнее «ура» государю, которое мы сейчас слышим.

Мои горячие переживания были облиты немного холодной водой, но надежда все же не остывала, и разум ей не противился.

Я все отказывался верить, что эта неожиданная, столь восторженная встреча государя со своими войсками действительно окажется последней и что дальше, кроме беспросветного мрака длинных годов, ничего более уже не будет.

Что думал и чувствовал государь, видя на маленькой станции в середине России безыскусственное проявление любви и преданности тех, родные братья которых в то же время буйствовали в далекой столице?

В чью искренность он больше верил? Не думал ли он, что одно его появление, так воодушевлявшее первых, заставит иначе биться сердца и у остальных?

По свойству своей натуры, по чуткому пониманию народной души, по примерам русской истории он, наверно, об этом думал, на это надеялся и на это в нужную минуту хотел решиться: он ведь не удалялся, не бежал от бунтующего Петрограда, а наоборот, старался приблизиться к нему.

Со страдавшей от болезни семьей он мог соединиться и вдали от столицы, как желала того и сама государыня, но соединиться с больной от безумия частицей народа он мог только там. Вот почему, несмотря на все доводы Алексеева, он не пожелал остаться в Ставке и просил императрицу не двигаться ему навстречу.

Императорский поезд продолжал двигаться беспрепятственно вперед через Оршу – Смоленск, на Вязьму, Лихославль, Бологое и Тосно, согласно маршруту, на этот раз не напечатанному красиво на толстом картоне, а лишь наскоро написанному на клочке бумаги и лежавшему у меня на столе.

В Вязьме – первой станции, на которой принимались телеграммы на иностранном языке, – государь послал телеграмму Ее Величеству на английском языке, сообщая о своем выезде в Царское Село и о принятых им мерах для восстановления порядка в Петрограде²¹.

На мелькавших затем станциях и во время остановок текла обычная мирная жизнь, где не было даже намека на что-либо «революционное». Бунтовал лишь Петроград – маленькая точка на безбрежном пространстве России, о чем мы неоднократно друг другу указывали.

Но агентских телеграмм, как бывало раньше, уже в вагон не приносили, и мы не знали, что делается в столице и в Царском Селе.

Генерал Воейков тоже, видимо, не имел сведений и, по обычаю, шутливо отмалчивался. Из разговоров в течение дня с другими товарищами и Кирой Нарышкиным я узнал, что была получена днем лишь телеграмма, посланная вслед императорскому поезду генералом Алексеевым и уведомлявшая, что восстание разгорается, что Беляев доносит, что остались верными

лишь 4 роты и 1 эскадрон, с которыми он и был вынужден покинуть Адмиралтейство, где до того находился. Генерал Алексеев снова упоминал, что необходимо ответственное министерство и что думские деятели, руководимые Родзянко, еще смогут остановить всеобщий развал и что утрата всякого часа уменьшает надежду на восстановление порядка.

Я отчетливо помню, что эта телеграмма, принесенная в поезд, кажется, в Вязьме, была на имя государя и что Его Величество телеграфировал еще в пути из нашего поезда Родзянко, назначая его вместо князя Голицына председателем Совета министров и предлагая ему выехать для доклада на одну из промежуточных станций навстречу императорскому поезду.

От Родзянко был уже получен в то время (около 3–4 часов дня) и ответ, что он выезжает нам навстречу.

Тогда же из разговоров выяснилось, что предполагалось предоставить Родзянке выбор лишь некоторых министров: а министры Двора, военный, морской и иностранных дел должны были назначаться по личному усмотрению государя императора, а все министерство должно было оставаться по-прежнему ответственным не перед Государственной Думой, а перед Его Величеством.

Вечером около 9 часов, после обеда, прибыли в Лихославль, где была назначена остановка.

В служебный задний вагон нашего поезда вошли несколько железнодорожных инженеров и два жандармских генерала, только что прибывших из Петрограда для встречи и обычного дальнейшего сопровождения императорского поезда по их участкам.

Я прошел туда. Генералы рассказывали, что при их отъезде из Петрограда они слышали частые беспорядочные выстрелы и видели взбунтовавшихся солдат; говорили также, что, по слухам, много перебито офицеров.

По их словам, рабочие и «народ» очень возбуждены, требуют понижения цен на хлеб и на другие припасы, но что из толпы в течение целого дня не было слышно ни одного резкого слова ни против государя, ни против императрицы и что вообще в толпе «политика», видимо, не играла еще главной роли, хотя и «несомненно, что волнение вызвано искусственно разными политическими проходимцами».

Генералы были очень взволнованы, обеспокоены, говорили о тех мерах предосторожности, которые они приняли для безопасного проезда государя через Тосно в Царское Село, и надеялись, что все обойдется благополучно. Они же сообщили, что, находясь уже в вагоне, на вокзале для следования к нам, они перед самым своим отъездом увидели, как большая беспорядочная толпа революционных солдат начала занимать Николаевский вокзал.

Что потом было на вокзале, после их отъезда, они не знали, так как не могли по дороге соединиться по телефону с Петроградом.

Но обычная охрана железнодорожного полка стояла еще исправно на своих местах по пути следования царского поезда.

Думая с беспокойством о своих, я спросил, что делается в Гатчине и, в частности, в Гатчинском дворце, где жила моя семья.

Приехавшие в один голос меня успокоили, говоря, что в Гатчине совершенно спокойно, но что в Царском хуже и что было видно, как по дорогам к нему из Петрограда двигались какие-то кучки не то солдат, не то вооруженных рабочих. Они же сообщили, что Дума, несмотря на указ о роспуске, ввиду волнений постановила не расходиться и что около Таврического дворца «толчется» много народа, солдат и т. п.

Во время этого разговора в служебный вагон вошел кто-то из местных железнодорожных инженеров и, обращая ко всем, сказал: «Вот посмотрите, что сейчас получено». Один из жандармских офицеров взял протянутую телеграмму и вполголоса, с трудом разбирая наскоро записанные слова, начал читать.

Это была телеграмма, разосланная членом Думы Бубликовым по всем железным дорогам и объявлявшая, что: «по поручению какого-то «Комитета Государственной Думы» он занял сего числа министерство путей сообщения».

В этой же телеграмме Бубликов объявляет и столь запомнившиеся мне почему-то до последних дней неслыханной разрухи слова приказа Родзянко, обращенные ко всем начальствующим лицам:

«Железнодорожники, старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной.

Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти.

Обращаюсь к вам от имени Отечества (или Родины, не помню), от вас теперь зависит и т. д., и т. д.»²².

Я сначала не понял, в чем дело, и думал, что это Родзянко, уже получивший телеграмму государя, объявляет в таких резких словах о своем назначении главой правительства, а что Бубликов, назначенный им, вероятно, министром путей сообщения, сообщает о своем вступлении в должность, и даже спросил:

– Кто это Бубликов?

И помню, что мне кто-то ответил:

– Это один из думских железнодорожников, всегда стремился играть какую-то роль.

Но видя сначала недоумение, а потом и растерянность остальных и удивившись воцарившемуся затем молчанию, я взял телеграмму и перечитал сам.

Помню, что фраза «занял сего числа министерство» меня особенно поразила боевым тоном генерала, уведомлявшего о занятии утром важной неприятельской крепости.

Приевшиеся уже давно слова «приказа» Родзянко о власти, создавшей разруху, и о новой власти, необходимой для спасения России, на меня произвели гораздо меньшее впечатление, и только потом, через несколько мгновений, поняв наконец, о каких действиях шла речь, эти слова легли на мое сознание тем гнетущим отвратительным чувством, от которого я не могу отделаться и до сих пор...

Впечатление от этой телеграммы на остальных, видимо, сказалось не менее сильно, но мне было не до обмена впечатлениями.

Я ушел к себе в купе и забился в угол дивана.

Было противно, обидно и тяжело – к бунтующим солдатам и мастеровым присоединялись не только другие, бессмысленные солдаты, забывшие присягу, но и люди, ничего общего с ними ни по развитию, ни по вдумчивости не имевшие. Они не только присоединялись к толпе, но уже, видимо, сливались с нею до полного подчинения. Их вожаками уже была уличная чернь.

Поезд двинулся дальше и дошел до станции Бологое. Новая остановка и новые, более определенные, но еще более тяжелые вести: почти все войска в Петрограде взбунтовались; Николаевский вокзал занят восставшими, и одному офицеру железнодорожного батальона лишь с трудом, без оружия, удалось выбраться из Петрограда на дрезине.

Он рассказывал, что все же горсть верных солдат и в особенности юнкера Николаевского кавалерийского училища продолжают геройски защищаться, но что много офицеров перебито; Любань уже занята какой-то небольшой кучкой революционеров; про занятие Тосно он ничего не знал.

Кто-то показал новую телеграмму или листок, подписанный Родзянко, где уже объявлялось об образовании временного Комитета Государственной Думы, к которому перешла власть от устраненного Совета министров, и что этот думский комитет взял в свои руки восстановление порядка.

О положении Царского Села офицеру ничего не было известно. Ожидавшийся нами навстречу фельдъегерь в Бологое также не прибыл. Но путь в Петроград, по справкам, был еще

свободен, и выставленная по железнодорожному пути остальная войсковая, кроме железнодорожников, охрана для прохода императорского поезда стояла на своих местах.

Решено было поэтому двигаться далее, хотя профессору Федорову и принесли от генерала Дубенского, ехавшего впереди нас в часовом расстоянии в другом служебном поезде, записку, в которой он предупреждал, что, по имеющимся у них сведениям, Тосно также занято революционерами, и советовал из Бологого повернуть на Псков.

Было уже поздно, но спать не хотелось; к тому же мы приближались к моей родной Новгородской губернии, и я надеялся увидеть в Малой Вишере губернатора Иславина или кого-нибудь из губернского начальства, обыкновенно выезжавших для встречи государя на эту станцию, и от них разузнать, что делается в наших краях.

Ожидать было еще долго, оставаться одному невыносимо. Я зашел в купе к Вале Долгорукову, моему бывшему товарищу еще по корпусу, с которым я смолodu был очень близок, а впоследствии особенно любил за его обычную скромность, невозмутимость, а главное – за всегдашнее более чем равнодушное отношение ко всяким слухам и сплетням, волновавшим тогда большинство.

Он и на этот раз был спокоен и выдержан, как всегда, и даже занят был своими постоянными гофмаршальскими расчетами.

Помню, что это показалось в те часы чересчур уж обидным, и я даже резко упрекнул его:

– Что ты тут такими глупостями занимаешься – посмотри, что делается!!!

– Это все ничего, – сказал он мне своим ровным, почти апатичным голосом, – с этим мы справимся, а вот подумай лучше, как справиться с немцами.

– Как ничего, – воскликнул я, – разве ты не видишь?!

– Да так, ничего; это все обойдется, а немцы пока главное.

И удивительное дело, эти невозмутимые слова, несмотря на всю их наивность, как-то сразу успокоили меня своим напоминанием о немцах, о которых я в те часы совершенно забыл.

«Конечно, обойдется, не может не обойтись, – подумал и я. – Какая там революция в самом разгаре войны – революции бывают иногда по ее окончании или когда армии бывают приперты к стене. Нам до этого далеко, да и успех не за горами. Это простой бунт – один лишь Петроград с окрестностями бунтует, а ведь кругом все спокойно».

И мне снова вспомнилась мирная жизнь около тех станций, через которые мы проезжали, вспомнился и восторженно встретивший нас несколько часов назад пехотный эшелон, направлявшийся на фронт.

«Вот войдет Иванов в Петроград с двумя-тремя такими частями, и уж одно их появление приведет там все в порядок», – успокаивал я себя и даже радовался, что уже утром буду со своей взволнованной семьей, которую, наверное, успокоит мое неожиданно скорое возвращение...

Но мечтам этим было суждено лишь остаться мечтами на час.

Поезд замедлил ход – мы подходили к Малой Вишере. Я высунулся из выходной двери и смотрел на приближающуюся станцию.

Она была слабо освещена, но на платформе было довольно много народа. На путях стоял какой-то ярко освещенный поезд. Я вышел и столкнулся с генералом Дубенским, ехавшим в служебном поезде далеко впереди нас.

– Вы какими судьбами остались здесь? – удивленно спросил я.

– Мы все здесь, весь наш поезд! – с озабоченной тревогой ответил Лубенский. – Нам не советуют ехать дальше, так как, по слухам, Любань, да и Тосно тоже заняты революционерами, и мы решили подождать вас, чтобы спросить, как поступать дальше. Я еще послал об этом записку Сергею Петровичу (Федорову) из Бологого, получили ли вы ее?

– Записку мы получили, – ответил я, – но было решено, если путь не испорчен, то ехать дальше.

На платформу вышел генерал Воейков. Он вовсе «беззаботно не спал», как рассказывали о нем «очевидцы».

Его сейчас же обступили разные должностные лица и начали докладывать. Мне не хотелось присутствовать при служебных разговорах; было очень холодно, и, не найдя на платформе никого из своих новгородских знакомых и ожидавшегося фельдъегеря, я поспешил войти в служебный вагон инженеров, прицепленный к нашему поезду, надеясь там получить более подробные сведения о причинах задержки.

Отделение, в котором помещалось сопровождавшее нас железнодорожное начальство, было пусто – все были на платформе.

На столе лежала брошенная кем-то служебная телеграмма; я машинально взял ее и прочел: какой-то поручик Греков, называвший себя комендантом Николаевского вокзала, в резких выражениях и, кажется, с угрозами за неисполнение приказывал, чтобы императорский поезд, без захода в Царское, был направлен прямым маршрутом в Петроград, на Николаевский вокзал, «в его, коменданта, распоряжение».

Этот «приказ» неизвестного поручика всероссийскому императору, рассмешивший бы меня даже несколько часов назад, теперь наполнил меня таким гадливым негодованием, от которого я не скоро оправился.

Я вышел снова на платформу и увидел нашего общего любимца инженера М. Ежова, начальника императорских поездов.

Он мне подтвердил, что действительно телеграмма неведомого поручика Грекова была разослана по всей дороге, но что, конечно, на нее никто не обращает внимания, и, вероятно, по получении уведомления от соседней станции, мы, дав отойти свитскому поезду, скоро и сами двинемся вперед, так как путь не испорчен и пока до Любани свободен. Он добавил, что Тосно и Гатчина, через которые нам приходилось сворачивать на Царское Село, лишь только по слухам заняты бунтующими, и теперь идет проверка этих слухов по фonoпору...

Было уже очень поздно, около 3 часов ночи; наутро, согласно маршруту, приходилось рано вставать; большинство спутников по вагону уже спали; я сам был очень утомлен своими дневными переживаниями.

Слова Ежова меня временно успокоили, и, не ожидая отправления поезда, я прилег, не раздеваясь, на приготовленную уже кровать и сейчас же крепко уснул.

Спал я, как мне показалось, довольно долго и проснулся около шести утра, когда по расписанию мы должны были проходить Гатчину и час, который, засыпая, я мысленно назначил себе для вставания.

Поезд двигался, как мне показалось, более быстро, чем обыкновенно.

«Слава Богу, – подумал я, – несмотря на строжайший приказ поручика Грекова, мы все же движемся, куда хотим, и скоро будем дома, а не на Николаевском вокзале с его обнаглевшими запасными».

Я выглянул в окошко, надеясь издали разглядеть купола Гатчинского собора, и, к изумлению, увидел не хорошо знакомые мне окрестности Гатчины, а совершенно неизвестную местность; к тому же поезд двигался не к Петрограду и Гатчине, а в совершенно обратном направлении.

Встревоженный, я вышел в коридор и столкнулся с генералом Воейковым, еще в шинели, проходившим из служебного вагона в свое купе.

– Владимир Николаевич, что такое? Почему мы едем назад? И куда? – спросил я его.

– Молчите, молчите, не ваше дело, – как будто шутливо, но с сильным раздражением, нетерпеливо ответил он и скрылся в своем отделении.

Убеждение В. Н. Воейкова, что он должен знать все, а мы ничего, и что все касавшиеся близко нас распоряжения о разных передвижениях, известные даже мелкому служебному человеку, – «не наше дело», мы знали давно и с этим кое-как свыклись.

Но тогда его столь требовательная таинственность показалась мне особенно неуместной. Видимо, он был сильно взволнован и не хотел этого показывать.

Коридор вагона был пуст; купе были закрыты; все спали, и только у моего соседа, командира конвоя графа Граббе, слышалось какое-то движение – он, вероятно, не спал.

Я вошел к нему и узнал, что вскоре после моего возвращения в вагон, в Малой Вишере, получилось подтверждение, что Любань уже занята большой толпой взбунтовавшихся солдат (одна рота или две), вероятно, испортивших путь, и что проехать через Тосну будет нельзя.

В таких обстоятельствах, конечно, было бы необходимо, чтобы Георгиевский батальон, как и предполагалось, шел действительно впереди нас в виде тарана, и не по боковому, дальнейшему пути.

Было решено поэтому с согласия государя, которого пришлось разбудить, вернуться назад в Бологое и кружным путем, через Старую Руссу, Дно и Вырицу, проехать в Царское Село.

В Бологом еще раньше была назначена смена паровозной бригады, но машинисты и другие, несмотря на свое утомление, не хотели сменяться и выразили непреклонное намерение ехать с императорским поездом и далее.

Наши военные железнодорожники из свитского поезда разъединили путевой телеграфный провод на Петроград, перевели на другой конец паровоз, и наш поезд быстрым ходом двинулся вперед. Теперь мы приближались снова к Бологому.

Впереди нас не было уже никого – служебный поезд остался позади и следовал в близком расстоянии за нами.

О непредусмотренном движении императорского поезда предупреждались постепенно лишь соседние, ближайšie станции.

В своих воспоминаниях Палеолог, упоминая об этом повороте императорского поезда назад, рассказывает, что командир железнодорожного батальона генерал Цабель, войдя тогда в купе спящего государя, убеждал вернуться назад, а не следовать в Царское Село, и что якобы государь отнесся ко всему равнодушно и говорил: «Ну что же, поедем тогда в Москву или в Крым... там теперь уже цветы цветут»²³. Этого столь грубо выдуманного разговора не было, да и быть не могло, хотя бы уже потому, что генерал Цабель не входил, да и не мог входить по своему положению в купе государя. К Его Величеству входил в ту ночь лишь генерал Воейков, и разговора о Москве, Крыме и цветах, конечно, не было. Я это знаю наверное...

Начиналась среда, 1 марта, новый тяжелый день, когда томительные переживания не облегчались уже ни надеждой на скорое окончание бунта, ни мыслью о скором свидании с семьей. Впрочем, в то время о своих я перестал почти думать. Мои были сравнительно в безопасности и здоровы, но зато моя Родина и любимая семья моего государя не выходили у меня из головы. Я представлял себе их больными, окруженными бунтующей толпой, растерянными, тщетно ожидающими приезда государя.

К великим князьям и маленькому Алексею Николаевичу я был привязан всей душой и в своих чувствах к ним почти не отделял их от собственной дочери.

Не любить и не привязаться к ним было нельзя: их внутренний мир чаровал еще больше, чем их прелестный внешний облик. Я чувствовал, что они также любили меня, и нас связывала самая искренняя дружба...

Я не помню хорошо, как прошел этот день до вечера, да и вряд ли что-либо записал об этом в своем дневнике.

Помню только, что весь этот день был ясный, чувствовалось начало войны, что на станциях и, в частности, в Старой Руссе текла обычная мирная жизнь, что задержек в пути не было, что государь не выходил почему-то, как всегда во время остановок, для прогулки и что то короткое время, которое мы обычно проводили вместе с Его Величеством, ничем не отличалось в разговорах от обыденных, не тревожных дней.

Нелегко, конечно, было и нам, и ему говорить о ничтожных вещах – поддерживать разговор и лишь думать о том, что так мучительно волновало каждого из нас, а Его Величество в особенности.

Вспоминается также, что было решено щедро наградить не пожелавших сменяться верных паровозных машинистов и кочегаров.

К сожалению, последовавшие события в Пскове заставили совершенно забыть и об этих преданных своему царю людях².

Помню и то, что в течение дня получилось хорошее известие, что генерал Иванов со своим эшелоном благополучно, без задержек, проследовал через Дно и должен был быть уже в Царском Селе, откуда еще сведений не было.

Получилась и непонятная ответная телеграмма от Родзянко, ожидавшегося нами на станцию Дно и кратко уведомлявшего, что «по изменившимся обстоятельствам он выехать навстречу Его Величеству не может».

Также помню, что до получения этой телеграммы и до прибытия нашего на станцию Старая Русса никаких предположений о перемене маршрута на Псков не было, и лишь по приезде на эту станцию получилось известие, что мост по Виндавской дороге якобы или испорчен, или для тяжелого императорского поезда ненадежен, и только тогда было решено двигаться на Псков и оттуда по Варшавской дороге прямым путем через Лугу, Гатчино и Александровскую на Царское Село.

Тогда же была послана и новая телеграмма Родзянко, уведомлявшая о перемене нашего маршрута и снова предлагавшая ему выехать на встречу в Псков.

В этом городе находился штаб Северного фронта генерала Рузского, и оттуда можно было связаться прямым проводом со Ставкой, Петроградом и Царским Селом и выйти наконец из той тревожной неизвестности, которая нас окружала со вчерашнего вечера.

Остановка в Пскове, о которой с пути был уведомлен и генерал Рузский, предполагалась поэтому очень короткой и ставилась в зависимость лишь от своевременного прибытия Родзянко и от времени, необходимого для переговоров по прямому проводу с Царским Селом и со Ставкой.

Был уже вечер, около 7 с половиной часов, когда императорский поезд подходил к Пскову.

Я, будучи дежурным флигель-адъютантом, стоял у открытой двери площадки вагона и смотрел на приближающуюся платформу.

Она была почти не освещена и совершенно пустынна, несмотря на то, что в Пскове заблаговременно знали о прибытии государя.

Ни военного, ни гражданского начальства (за исключением, кажется, губернатора), всегда задолго и многочисленно собиравшегося для встречи Его Величества, на ней на этот раз, к моему удивлению, не было.

Не было выставлено и почетного караула. Лишь где-то посередине платформы находился, вероятно, дежурный помощник начальника станции, да на отдаленном конце виднелся силуэт караульного солдата с ружьем.

Поезд остановился. Прошло несколько минут, из-за медленно падавшего снега показавшихся мне особенно длинными; никто из начальства не появлялся; на платформу только вышел какой-то офицер, посмотрел на наш поезд и снова скрылся.

Еще прошло несколько минут, и я увидел наконец генерала Рузского, переходящего рельсы и направлявшегося в нашу сторону.

² Брат лейб-медика Боткина моряк П. С. Боткин²⁴ в своей статье говорит: «Не должно забывать, что вся поездная прислуга, вплоть до последнего механика, в царском поезде была причастна к революции». Быть может, это было и так, но по отношению лишь к паровозной бригаде, стремившейся сменить своих вопреки присяге товарищей, а не к этим последним.

Рузский шел медленно и, как мне невольно показалось, будто нарочно не спеша. Голова его, видимо, в раздумье, была низко опущена. За ним, немного отступя, шли генерал Данилов и еще 2–3 офицера из его штаба.

О Рузском сейчас же было доложено, и государь его принял, а в наш вагон вошел генерал Данилов с другим генералом.

Они сразу, без всякого вступления, стали расспрашивать об обстоятельствах нашего прибытия в Псков и о дальнейших наших намерениях.

– Вам все-таки вряд ли удастся скоро проехать в Царское, – сказал Данилов. – Вероятно, придется здесь выждать или вернуться в Ставку. По дороге беспокойно... Мы только что получили известие, что в Луге вспыхнули беспорядки и весь город во власти бунтующих солдат. Вероятно, и высланные вами части к ним присоединятся.

Об отъезде Родзянки в Псков в штабе не было ничего известно – он оставался еще пока в Петрограде; но были получены от него телеграммы, что в городе началось избиение офицеров и возникло якобы страшное возбуждение против государя. По их сведениям, весь Петроград находится теперь во власти взбунтовавшихся запасных.

Генерал Данилов был мрачен и, как всегда, очень неразговорчив.

Генерал Рузский оставался у государя только несколько коротких минут и в ожидании обеда, к которому был приглашен, вскоре прошел к нам, кажется, в купе Вали Долгорукова.

Как сейчас помню, в каком раздраженном утомлении откинулся он на спинку дивана.

Граф Фредерикс и мы собрались около него, желая узнать, что происходит, по его сведениям, сейчас в Петрограде и какое его мнение на все происходящее.

– Теперь трудно что-нибудь уже сделать, – с раздраженной досадой, почти совершенно в таких выражениях говорил Рузский. – Давно все настаивали на реформах, которых вся страна требует... Не слушались... Голос хлыста Распутина имел больший у вас вес... Вот и дошли до Протопопова, до неизвестного Голицына... до всего того, что сейчас... Посылать войска в Петроград, конечно, поздно – выйдет только лишнее кровопролитие и лишнее раздражение... надо их вернуть...

– Меня удивляет, при чем тут Распутин? – спокойно возразил граф Фредерикс. – Какое он мог иметь влияние на дела?! Я, например, даже его совершенно не знал.

– О вас, граф, никто и не говорит. Вы были в стороне, – вставил Рузский.

– Что ж, по-вашему, теперь делать? – спросили несколько голосов.

– Что делать? – переспросил Рузский. – Придется теперь, быть может, сдаваться совершенно на милость победителя!

Что дальше говорил Рузский, я не помню, кажется, ничего, так как вошедший скороход доложил, что государь собирается выходить к обеду, и мы все направились в столовую.

Я чувствовал только его известное «пренебрежение» к нам, к «придворным», не отдававшим себе отчета в происходящих событиях. Но разбирался ли он в них достаточно ясно сам? Вот что шевелилось в моих мыслях после его слов о необходимости вернуть войска.

Обед, хотя и короткий, тянулся мучительно долго. Моим соседом был гр. Данилов, и я с ним не сказал ни одного слова. Остальным тоже было, видимо, не по себе.

Но государь спокойно поддерживал разговор с Рузским и графом Фредериксом, сидевшими рядом с Его Величеством.

После обеда Рузский через некоторое время, по его просьбе, снова был принят государем, оставался у государя до поздних часов, заходя в промежутке доклада ненадолго к нам в вагон, в отделение к ген. Воейкову, с которым вел какие-то служебные разговоры, а затем ненадолго прошел к гр. Фредериксу.

Был ли там также и генерал Воейков, я не знаю. Кажется, был.

Когда Рузский ушел, граф Фредерикс в разговоре с нами сообщил, что соединиться с Царским Селом не удалось, но что генерал Рузский намеревается переговорить по прямому

проводу с Родзянко, спросить, почему он не приехал, узнать, что делается в Петрограде, и просить приехать все-таки в Псков.

Граф Фредерикс добавил, что до получения ответа мы остаемся на неопределенное время в Пскове и, во всяком случае, не уедем до следующего утра.

В тот же поздний вечер мы узнали, что государь, по настоянию Рузского, выразил согласие на назначение ответственного министерства уже вполне по выбору председателя Думы, о чем Рузский также намеревался сообщить Родзянко по прямому проводу. Вот все, что сделалось нам известным в этот день.

Приходилось ждать результатов переговоров. Было очень поздно, чуть ли не около 2 часов ночи, а Рузский все не приходил, и мы наконец после долгих ожиданий разошлись по своим помещениям.

Из тех немногих отрывочных фраз, которыми обменивались Рузский и В. Н. Воейков, ясно сквозило его пренебрежительное отношение к последнему; в свою очередь и генерал Воейков своими полусутовыми фразами давал понять Рузскому, что преувеличивать простой бунт в мировое событие еще преждевременно.

Утром в четверг, 2 марта, проснувшись очень рано, я позвонил моего старика Лукзена и спросил у него, нет ли каких-либо указаний об отъезде и в котором часу отойдет наш поезд.

Он мне сказал, что пока никаких распоряжений об этом отдано не было и что, по словам скорохода, мы вряд ли ранее вечера уедем из Пскова.

Это меня встревожило; я быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. В ней уже находились Кира

Нарышкин, Валя Долгоруков и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об отъезде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод испорчен, и переговоры поэтому не могли состояться.

Государь вышел к нам позднее обыкновенного; он был очень бледен и, как казалось по лицу, очень плохо спал, но он был спокоен и приветлив, как всегда.

Его Величество недолго оставался с нами в столовой и, сказав, что ожидает с докладами Рузского, удалился к себе.

Скоро появился Рузский и был сейчас же принят государем.

Мы же продолжали томиться в неизвестности почти до самого завтрака, когда, не помню от кого из штаба, мы узнали, что Рузскому после долгих попыток лишь поздно ночью, около 4 часов утра, удалось наконец соединиться с Родзянко.

Родзянко сообщал, что не может приехать, так как присутствие его в Петрограде необходимо. Там царит полная анархия, а слушаются лишь его одного. К тому же Луга взбунтовалась и якобы никого не пропускает. Все министры им арестованы и по его приказанию переведены в крепость.

На уведомление о согласии Его Величества о формировании ответственного министерства Родзянко ответил, что «уже слишком поздно, так как время упущено. Эта мера могла бы улучшить положение два дня назад, а теперь уж ничто не сможет сдержать народные страсти».

Тогда же мы узнали, что якобы по просьбе Родзянко Рузский испросил у государя разрешение приостановить движение отрядов, назначавшихся на умирение Петрограда, и генералу Иванову государь послал рано утром телеграмму ничего не предпринимать до приезда Его Величества в Царское Село.

Это пагубное решение отказаться от защиты законной власти войсками было вызвано, конечно, не просьбами Родзянко, который хотя и был когда-то офицер, но в военном деле еще хуже разбирался, чем в политике.

Оно являлось желанием самого Рузского, как он нам о том говорил еще накануне. По его словам, он желал избежать лишь излишнего кровопролития, но море затем пролитой и

проливаемой крови наглядно свидетельствует, что высшие человеколюбие и предвидение были не на его, да и не на других генералов стороне.

Это распоряжение и советы вернуть на фронт высланные на усмирение петербургских улиц войска столькими ужасами отразились на моей Родине, что невольно вызывают необходимость хоть ненадолго отклониться от моего рассказа и на них остановиться подробнее. Именно ими около 10 часов вечера 1 марта и было положено начало тому, теперь уже полнейшему, бездействию, которое вызвало крушение величайшей в мире империи. Начальник штаба генерала Рузского генерал Ю. Данилов в своих воспоминаниях (Архив русской революции, т. XIX) так рассказывает о причинах, вызвавших подобное отношение: «К этому времени (вечером, после обхода, 1 марта) я получил очень тревожное известие о том, что гарнизон Луги перешел на сторону восставших. Это обстоятельство делало уже невозможным (!) направление царских поездов на север и осложняло продвижение в том же направлении эшелонов того отряда, который, согласно распоряжению Ставки, подлежал высылке от северного фронта на станции Александровка в распоряжение генерала Иванова. Головные эшелоны этого отряда, который был отобран командующим 5-й армией из наиболее надежных частей, по нашим расчетам, должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта; но затем эти эшелоны были временно задержаны в пути для свободного пропуска министерских (царских) поездов, и где они находились в данное время, нам было неизвестно»²⁵. В этом рассказе прежде всего вызывает недоумение, каким образом царский поезд мог задержать движение войсковых эшелонов, направленных из района между Двинском и Псковом на Петроград еще 27-го, а самое позднее – 28 февраля днем. Из приложенной схемы ясно видно, что в тот день императорский поезд находился на много сотен верст к юго-востоку от линии Двинск – Псков – Петроград, по которой направлялся двинутый на столицу отряд. Если, по расчетам ген. Данилова, головные эшелоны отряда должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта, то в эти самые часы мы находились где-то вблизи Бологого и, конечно, никому помешать не могли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.